

Тертышный Н.Н.

Правда, аж зло берёт

Намеренно не читал вообще никакой критики на фильм «Утомлённые солнцем 2», и в одиночку внимательно просмотрел хорошую DVD- копию. Долго размышлял над картиной, испытывая великие терзания противоречивых чувств, то восторгаясь проникновением в правду теперь уже далёкого от нас времени, то возмущаясь переизбытком этой же правды. Понимая правильную михалковскую озабоченность вопросом - «зачем жили и зачем живём», вижу, тем не менее, что картина как-то уж на американский манер часто сбивается на то «как жили и как живём», а для славянского сердца, как говорится, этого мало...

Ситуация «экстрима» заключённых в лагере несколько с перебором надумана (какая-то всеохватывающая грязь, и потому, надо полагать, абсолютная антисанитария). Свидетельства документов и рассказы очевидцев тех событий говорят действительно о страшной запущенности мест «не столь отдалённых», особенно пересыльных пунктов, где во временно оборудованных строениях на ограниченной территории периодически скопление достигало сотен тысяч людей. Тем не менее, из приказов по зонам видно, что задача удержать быт заключённых в допустимых санитарных нормах стояла всегда. Лет восемь назад мне доводилось искать материалы для передач на местном радио по истории нашего города, в связи с этим чуточку касался и такой болезненной темы как репрессии и исправительно-трудовые учреждения. Нужно признать, что материалы такого рода всегда малодоступны, потому выводы делал осторожно, больше полагаясь на рассказы людей, побывавших в заключении.

(Из истории снабжения так называемого Колымского края: организация под названием Дальстрой была создана во Владивостоке ещё в начале 30х г. Вот несколько строк из приказов по управлению исправительно-трудовых работ: «... ликвидировать вшивость,...поставить в отдельные условия лучшие бригады, ...Покончить с отдельными нездоровыми настроениями. Решительно пресекать факты малейшей расхлябанности...»).

После прочтения книги Людмилы и Аркадия Акциновых «По стерне босиком...» узнал интересную историю двух красивых, сильных людей, осужденных по пресловутой 58-й статье, встретившихся совершенно случайно в транзитной кутерьме пересыльного лагеря в нашем городе. Это вообще отдельный сложный и интересный разговор. Но вот некоторые эпизоды этой истории я всё-таки попробую пересказать. В воспоминаниях Аркадия, касающихся именно «транзитки», т.е. пересыльного пункта, есть интересный факт отправки его после надрыва на погрузке брёвен «в соседнюю военную больницу к хирургу...» и пребывание в этой больнице две недели после операции. Нужно полагать, что он упоминает нашу нынешнюю больницу здравотдела, и что в ней лечили и заключённых. Из истории

художников, чудом задержавшихся в Находке до своего освобождения в 1945ом году, на общем фоне рассказов о барачной сырости, сквозняках, чесотке, вшах, сифилисе, нахожу слова благодарности начальнику культурной части лагерей из вольнонаёмных некоему Бяльскому. И теплеет на сердце от сознания того, что и в самые сложные и трудные времена люди сохраняют способность помогать друг другу. Из воспоминаний сложно установить конкретно места пребывания Акциновых, но по некоторым чертам, можно понять, что однажды Людмилу на полгода переводили в другой небольшой лагерь (“...домишки, лес, вышки. Ехали весь день, ночевали в дороге в тайге...”), что располагался вероятно в нынешней деревне Монакино. Хорошо описан перевод Людмилы в Дубининский лагерь, где она оформляла местный клуб, писала портреты местных передовиков, активистов. Вообще к концу войны был спрос на портреты военных начальников, политиков. Ими оформляли кабинеты на предприятиях, клубы, каюткомпании на пароходах. По воспоминаниям Акциновых “порт Находка в те годы жил активной, бурной жизнью...”).

Нужно признать, что жизнь в самом низу нашей социальной пирамиды в те годы в бытовом плане мало чем отличалась от казённой жизни зека, поэтому выделить отрицательную сторону этого сложно, даже намерено показывая неприглядную убогость и грязь (а например, казённая жизнь военных была пределом мечтаний, что было одной из немаловажных причин желания служить в армии). Отношение к подобным вопросам в обществе многообразно, если брать во внимание вообще сословные или социальные различия. Например, тотальное доноительство не касалось низов общества. Мои родители, по крайней мере, никогда не вспоминали об этом, но вот с началом перестройки мама почему-то грустно повторяла: «Вот теперь, сынок, поработаете на барина, как отцы наши...».

Значит в условиях социальных противоречий, в отношениях к функциям государственного регулирования этих противоречий, в зависимости от социальной принадлежности существует и многообразие понимания разрешения их. Несколько смутили мою зрительскую притязательность рисованные самолёты, потому, может быть, скоренько как-то мелькающие в кадре, (как потом далее какие-то «нарисованные» деньги, разлетевшиеся под ноги паникующей толпы), сталинская скороговорка, тут же крупно излишне рябое лицо его, скорченность какая-то, горбатость, язвительный прищур, «****ь» в разговоре, потом далее сцена с пионервожатой и мокрые брюки начальника пионерского лагеря, особая эвакуация бюстов вождя, перепалка-диалог героев Дюжева и Михалкова. Смущала присутствующая во всём этом какая-то карикатурность, пасквильность, юморок «с блатным душком» (одна только фамилия героя В.Золотухина – Пиндюрин - чего стоит!)...

Я понимаю, авторы фильма ставили задачу показать правду, развал, безалаберность, панику, кровь, обязательно смерть. Отсюда натурализм, ставка на почти анекдотические случаи из истории войны, я бы сказал на

«фронтной фольклор» (пленный немец, бомба прямо в лазарет, грудь медсестры, с винтовкой на танк), на уход в природу более, чем на соблюдение сюжетной направленности потока событий, и, конечно же, на избыток правды. Начиная с «оттепели» до самой «перестройки» пару десятилетий в искусстве можно было наблюдать рождение и блеск «звёзд», потому что в обществе словно открылась правда жизни, которую можно было говорить, пусть и при соблюдении некоторой условности. Сегодня же таких условий нет, потому что, правда, либо не нужна, либо её ещё не научились говорить. Отсюда неудачный опыт – говорить много правды. Но, когда правда многократно приумножена, история невольно начинает походить на анекдот. Таким приёмом вероятно можно достигать желаемого результата в работе над выдуманной историей (так, наверное, Войнович писал своего Чонкина), но в работе над известным историческим событием, как война, это вероятно только усложняет задачу пограничными ситуациями при возрастании правды до какого-то невыносимого абсолюта. Потому и созданные талантливейшим образом кадры (фантастические картины поля боя) не трогают. (...может быть за исключением кадров гибели героя Е.Миронова (Изюмова). А у Котова хитро-мудрый «прибабас» на левой руке, похожий на амуницию «оборотней» из нынешних фильмов. Для чего? Весь фильм моё зрительское недоумение оставалось без ответа, который придёт невзначай уже в другом фильме «Цитадель»).

Плохо срабатывает и противопоставление мрачным картинам войны крупно кадров с полковничьими погонами, с тихой уже не осаждённой Москвой, сытой, с опять-таки рисованными позициями артиллерийской батареи. Бессюжетность там и там лишь подчёркивает излишнее внимание к негативу (один из явных признаков натурализма), подлости и ничтожеству в тылу, бессмысленности, неорганизованности и гибели на фронте. (А где генеральские качества Котова? В экстремальной ситуации качества лидера обязательно должны срабатывать. Иначе, какой же он комбриг? Или советская система его так сломала окончательно и бесповоротно? Тогда опять-таки подчёркивается негатив и изъяны прошлой формации. Получается, что весь сюжет обращён только к этим изъянам социализма).

Я понимаю, что консервативен в отношении иных взглядов на историю, и, конечно же, срабатывает воспитанное всей жизнью, советское понимание истории Великой войны. «Юморок» в кадрах подготовки к «защите рубежей нашей Родины», конечно же, перечёркивает мои прежние представления о том времени, потому непонимание и неприятие приходит в чувства. Что-то ерническое, сальное, обидное и плоское видишь при частом упоминании того, что человек, в общем-то, скотина и сволочь великая. Потому непременно хочется хоть чуточку услышать что-то достойное, возвышенное, и огорчаешься, так и не дождавшись. (Ерничанье подобного рода уводит понимание от истины свершившегося и даёт основание для новых мифов в будущем. Те советские солидные стены многих строений, на которых ныне лишь пластиковая обшивка, лишь косметические украшения,

приобретённые в торговых соприкосновениях с индустрией массового товаропроизводства капиталистических стран, действительно изрядно обвалились, облуплены и неприглядны, но они прочны и ещё не одно десятилетие послужат, исполняя своё функциональное предназначение. Большая часть общества живёт и ещё долго будет жить в этих стенах и в прямом и переносном смысле. Это касается не только каких-то монументальных строений и гигантских энергоустройств, эта основательность обязательно жива вообще в культуре, в душах, в целях народа. И в противовес насмешкам над этим обязательно рождаются мифы о «золотом веке» социализма, как это часто бывает в идеологиях. И неизвестно, что больше поспособствует мифологии: та жизнь или подсмеивания над ней...). Если непонимание ограничено лишь моим плохо организованным соображением, то беды нет, но вот, если такое непонимание расколется общество, разрыв станет раной, время загноит её и тогда действительно грянет беда.

Понимаю, нынешний общественный разлад, раздрай в отношениях, поиск в народе стержня, единства – несомненно, сказались в работе над фильмом, может даже больше, чем это видится в несовершенствах картины. Вот почему комбриг Котов, словно сторонний наблюдатель и второстепенный участник событий. Он плохо понимает ситуацию, просто подлаживается, и наверно только поэтому его пришлось «переквалифицировать» в уголовники, а совсем не потому, чтобы увеличить шанс на выживание (действительно сегодня с позиции, так сказать, «криминального толка» жизнь предстаёт более ясной и понятной...). Невольно удача фильма проявляется в том, что исподволь, субъективно оказалась проявленной нынешняя безобразность общественного состояния. Авторские рыскания в поиске показывают, как страдает сегодня мятущаяся мысль уже фактически уходящего поколения в поисках ответов на многие и многие вопросы общественной жизни (отыскать истину, верно, достанется уже другому поколению..., как знать).

Потерянный стержень общественных позиций в конце двадцатого начале двадцать первого веков даёт о себе знать и в оценках прошлого. Мечется сегодня мысль, отыскивая твердь в море развороченного общественного нутра, потому и картина населена народом злобным, грязным, нелюбимым..., тогда как в первых «Утомлённых солнцем» любовь к героям явная и понятная говорила о том, что автор владел пониманием целей и направленности общества. В первом фильме автор знает своих героев, и отрицательных в том числе, и потому любит их. В новых «Утомлённых...» любви нет. Есть жалость, презрение, ненависть, потому что героев либо не понимают, либо просто не знают (либо поставлена изначально задача не любить, а заработать денег или каких либо других, например, политических дивидендов, и забыта ценность творческого проникновения в предмет картины. Может быть поэтому и набожность несомненно притянута в картину как требование сегодняшнее. Явный перебор со священником с оторванными ногами в холодной воде, что крестит Надю на mine, на которой

чуть позже подорвётся катер с гипсовыми «вождями» и... с людьми, между прочим. Из этого сюжета, конечно же, зритель обязательно должен понимать, что лишь с Богом и на mine останешься жить, а без Него, будь ты трижды памятником, обязательно взлетишь на воздух).

Волей или неволей любой художник, показывая картины прошлого, экстраполирует на холст и своё время. Так устроено наше сознание, сравнивающее и тем самым постигающее события и действие в истории. Важно в этом процессе – не переборщить с излишней правдой. Иначе по общеизвестному определению история вообще, и тем более история, рассматриваемая в угоду настоящего времени, превращается в фарс. (Котов уголовник – невольное угодничанье перед нынешними преступными наклонностями многих из сегодняшних зрителей...). Наверно, такое можно допускать в каких-то детективных, криминальных историях, но когда речь касается святынь, оказываешься перед опасностью быть не понятым...

Январь 2011г.

Сила сукачёвских противопоставлений

Вячеслав Сукачев: «Свидание у реки», избранные рассказы, Хабаровск 2005г.

Взялся читать, выбирая поздние даты под рассказами, интуитивно пытаюсь сразу же отыскать у писателя «перестроечное время», хранящееся в моей памяти почему-то излишне возбуждающим набором событий, нервных и почти не связанных логикой, потому наверно пустых и утрачивающих в последующие годы всякий смысл. Но потом позабыл о собственных намерениях и с удовольствием читал рассказы из ранних лет, вовсе не замечая лет, разделивших семидесятые с восьмидесятыми...

«Папаня» (1989) – коротко, словно вскользь, в меру желчно об отношениях пащенка с отчимом. Кажется, меж людьми непреодолимая насмерть драма, но что-то в повествовании не даёт окончательно увидеть в персонажах распад и гибель. Какие-то неуловимые нотки сквозят меж строк, оставляя читателю понимать явное нежелание автора рвануть вконец, в кровь узы, связывающие некогда этих двух родственников, словно они оба дороги писателю каждый по-своему. Потому-то в конце так неопределённо кому-то грозит в обезумевший холодный мир Анатолий Васильевич, скорее всего именно в этом мире всё-таки усматривая причины людской неустроенности, трагедий и драм. Мне самому не понаслышке знакомы такие отношения. И проблема неродных отцов-отчимов, поставленная пред обществом после Великой Отечественной войны так и не получила своего должного освещения в литературе, за исключением может быть двух-трёх работ, включая и опыты в кинематографе. В отношениях к отчиму всегда есть чувство неприязни, холодное, выношенное подспудно необъяснимой обидой

на весь белый свет, но есть и любовь, уважение, обязательный сознательный долг за то, что, так или иначе, тащил постылый, по сути не свой тяжкий воз. Рассказ цепляет за больное место и заставляет размышлять о людских отношениях вообще. Субъективно ощущение влияния чеховских опытов. Может быть, это от размеров рассказов...?

«Никто не смеялся» (1976) – по сюжету незамысловато, начало «производственное», но выходит на мужичий трёп «о бабах». Подкупает язык – смачно, но выдержанно, чисто, с достоинством. В конце намёк из нравственных основ. Хорошо.

«Галкин день» (1987) – недурственная весенняя картинка в начале, (разве только вкрадывается сомнение в сроки цветения черёмухи, сирени и «кучерявости помидорной» одновременно...?). Проникаешься авторским настроением, переданным, казалось бы, обычными словами – «...к обеду день испортился, занедужил», облака, ветер, столб пыли, «стало зябко и неуютно». Есть что-то в их строе, чередё звуков такое, что захватывает читательское воображение и заставляет принимать без сомнения образы – «сцеживался свет», «день занедужил», «ветер стружил воду на реке», «телефон запопискивал», «ветер шпарил босиком по самой стремнине реки».

В самом конце рассказа невольно улыбаешься: есть надежда ещё... на любовь. В любой антиалкогольной кампании (и в алкогольной компании тем более) продолжает жить эта надежда, и ничего с этим не поделаешь...

«Чудо-юдо, сладкий сок» (1973) – это проза из совершенно другой жизни, теперь ужу забытой-перезабывтой. Сегодня строится множество храмов, церковь набирает силу, народ бросился размашисто креститься и вовсю жечь свечи, а вот души опустели, или заполнены грубо-материалистическим набором потребительства и стяжательства. А тогда наперекор воинствующему атеизму храмы вздымались в душах простых людей. И писатели видели это. Вот их слово остаётся быть дорогим и близким, как родня из далёкого детства, чистая, с деревенским говором, с запахами оттуда. Простые люди, простая жизнь – и храмы в душах...

«Люэстра» (1991) – скупое, отрывочное, вот-вот слово сорвётся на «феню», оттого, может быть, кажется мелковатой тема. («...мышцы упруго спружинили...») – тавтологично как-то). «...неопределённый отрезок времени, когда не поймёшь сумрак это или нет. Именно в это время как-то особенно неуютно и сирое на душе. Когда запросто отдают магазины и конторы, реки и моря, земли, народы и даже целые государства...». Дочитывая рассказ, понимаешь, как автору трудно сдерживать наболевшее, как не хватает ему воздуха и сил вернуться в свою родную лирическую прозу. Потому так краток он и скуп на слово: жалеет он его для своих современных героев. Хрен им, а не Слово, так обойдутся, пусть довольствуются порнушками с телека...

«Пылесос» (1991) – несколько минорная история ни о чём и в то же самое время о многом. О наших последних советских временах, о безмужних девчонках, о родном заводе, о «несунах», о..., словом, грустная история. Или, может быть, это я так грустил сам, будучи пуст до икоты, и поддавшись

ностальгии по чистой неиспорченной ещё городом юности своей. У писателя получилось зацепить-таки.... История датирована девяносто первым годом, но вероятнее всего автор также «вита» тогда в советских семидесятых...

«Спутница по июньской ночи» (1981) – «...глядя на него детски-порочными круглыми глазами» – несколько надуманно и наверно сомнительно по смыслу. Фраза через главу повторяется, как и «малиновые подголоски в её голосе» (нет сомнения, если так говорят о колоколах, но вот о женском голосе...?).

Рассказ увлекает, ждёшь интересной развязки и несколько разочаровываешься банальной концовкой из нравов «нынешней молодёжи». Лёгонький адюльтер, чуть пошло, чуть грустно, немного правды, немного лжи, но чувство эпохальной перемены в нравственности автором подмечено верно. Очень интересный и правильный вывод о том, как «готовили во мне будущего горожанина», всей жизнью общества подчёркивая лучшую, в сравнении с деревней, обеспеченность и состоятельность горожан.

«Шведы приехали» (1991) – скучная прелюдия, полублатной сленг (автор зря подстраивается под такого читателя), сплошная прямая речь, диалоги, реплики – всё на «фене». Это всё начинающие бизнесмены из бывшей комсомолии. (Признаюсь, я счастливым образом избежал близкого знакомства с этим «сословием», потому плохо знаю о нём). Прочитав, грустил – авторская неприязнь передалась, и почему-то ругал его за то, что слово своё растратил на эти «рожи». Эх, Рассеюшка...

«Придворные люди» (1983) – приличная лирика: «осиновые закаты, обугленные осенью листья, потяжелела на взгляд вода, оттенки свинца, высокое небо, пронзительно-синее, звонкое, рубиновым костром догорала калина, плескалась мутная вода, нещедрое солнце, предзакатное светило, мягкий полог ночи...».

Мелкие заботы, чванливый народишко, корысть и лесть, пошлятинка. Меж строк всегда видно отношение автора к своим «героям». Он не то чтобы не любит их, он просто знает, что они плохие. Картины рыбалки объёмны, зримы, видится вся обстановка на реке, все действия. Образы героев скупы, но при дополнении к их внешности их мыслей, получается полно и хорошо. «Его золотистые зрачки, подсвеченные изнутри азартом...» - хорошо. Герои – выходцы снизу, пробившиеся в комсорги, в профкомы, в начальство, использовавшие при этом любые приёмы. Это они в «перестройку», предавая кровное родство с рабочим людом, ринутся первыми в «буржуазную жизнь», подумывая совсем не о росте производства, не о технологиях, а о более жирном куске. Каждый преследует свои мелкие цели, лишь у начальника, кажется, под стареющим сердцем шевелится что-то возвышенное...

Предчувствие чего-то плохого, неприязненного, непристойного не покидает читателя на протяжении всех глав рассказа. «Свита» – удачное слово, объясняющее во многом чувство неприязни.

Число героев как-то расплывается на протяжении всего повествования и сложно определяется почему-то за переменной настроений, в диалогах, в картинках пикника на реке. И возраст героев определяется непросто, только

после вдумчивого пристального вчитывания. Должно быть так своеобразно выразилось у писателя ощущение безжалостно разваливающегося «социалистического» мира.

Сложное чувство не оставляет после прочтения рассказа. Из сегодняшнего капитализма многое видится не так, как в те восьмидесятые. Но теперь понимаешь, что именно тогда раскалывался и изменялся наш образ жизни...

«Уроки жизни» (1985) – память из школьных лет удивительным образом приходит в сегодняшнюю жизнь и пленит, чарует картинками: «ветер забрался в солому, снежные пушинки, горластая ворона, солнце сквозь снежную мглу, снежные кляксы над вершинами деревьев, берёза со старой морщинистой кожей, играющие в прятки муравьи...». Слово из того времени – «она ещё долго разоряется...» (о матери), т.е. отчитывает сына. «На кухне пьянка, хмельной громкий говор отца, подвыпившая мать, к утру храп на полу под овчиной, мать с похмелья» – грустная, если не сказать гнусная картина, но следом: «печь на кухне, берёзовые поленья, белое пламя облизывает дрова, большой зелёный чайник..., звезды, прокалённые за ночь морозом, бесконечные снежные поля и заглядывающее в школьный класс солнце...» – и отпускает душу тоска, приходит умиротворение и понимание огромности мира, его важности и обязательной правильности, которые так важно и должно ещё понять. В том сила сукачёвских противопоставлений...

не от тленного семени

Николай Тертышный.

«...не от тленного семени...»
(или «...зачем пишу...»)

...Встречаю на днях хорошего приятеля, с которым давненько не виделся. Обычное приветствие: «здоров – здоров, как жизнь, что подельываешь...?» и прочие случающиеся при таких встречах вопросы, и такие же ни к чему не обязывающие ответы: «да вроде живу ещё, жизнь бьёт, да так, суетимся помаленьку...» и т.д. Но тут же слышу вполне ожидаемый серьёзный вопрос – «А как творчество? Что-то давно не слышно? Где обещанная новая книга?» И вот тут отвожу в сторону глаза и начинаю оправдываться, словно виноват в чём-то: «Да, вот, не получается как-то, нет денег, да и вообще сложно это всё...». И только уж потом, распрощавшись с приятелем, задумываюсь – а ведь, правда, почему новой книги нет? Она была готова ещё год назад, и теперь «пылится» в компьютерной памяти и совершенно никому не нужна. Так ли уж и не нужна...?

Припоминаю, как восторженно была встречена первая книга в 2000-ом году в редакциях городских газет, в литературном клубе, в библиотеках. Вторую книгу через полтора года почти не заметили, третья осталась в двух-

трёх редакторских экземплярах, а последняя вот в компьютерном архиве, как и та, над которой работаю сегодня, и которая, надо полагать, никому не нужна...

Проанализировав ситуацию, понял – от первого удачного шага было, во-первых, всеобщее удивление: надо же, работяга, а книжку одолел...! Главное, деньги нашёл...! И все в городе, так или иначе причастные к средствам информации, к книжному делу, к культуре, вольно или невольно потянулись к этому случаю рождения книги якобы из ничего. Значит можно с самого низу! Значит, есть она – удача...! И потянулись непроизвольно за опытом добывать деньги на книжку. А как? А сколько? А кто даёт? А нельзя ли ещё и нам... каким либо образом...? И взяла меня обида за всех нас...

Это же надо, как нас устремлённость к капиталу пообломала, да эгоизм наш наружу повыворачивала, а гордость да порядочность подальше в потёмки душ затолкала. Уж не за талант и трудолюбие ценим друг друга, а за умение грести «бабки с гринами», за пронырливость, за стяжательство, за спекуляции (словцо-то из советских времён, а как нельзя лучше подходит сегодня к деятельности многих и многих), за умение заставить другого на себя работать, да ещё и не оплачивать труд месячишко-другой. И не назовёшь-то это предпринимательством, это чистейшей воды эксплуатация (да простит мне читатель ещё один термин из марксовой классики, но у этих вещей именно эти имена)...! Я понимаю дилетантство своих политэкономических сентенций, но, тем не менее, вынужден каким-то образом выложить читателю своё наболевшее...

В людях произошёл раскол. В состоятельности людей, в экономике, в политике, в мировоззрении, в семье, в душах, в сердцах пролегла рана-трещина, которая теперь будет со временем расти во все стороны, пока не взорвутся сердца. И люди отныне разделены, и разошлись по разные стороны разлома, и будут отныне всё более и более удаляться друг от друга. Теперь и с той и с другой стороны будут прозревать свои «пророки», вершиться своё мировидение, созреть своя идея. И странным образом непонятны будут те, кто тужится и пытается примирить стороны, как-то срастить рану, стянуть расходящиеся края её, залечить, заглушить боль...

Может быть, в том и моя беда...: в прошлом веке не вписывался в идеологические рамки советского официоза по причине «мелкобуржуазности», а ныне не подхожу в причину «левых наклонностей». Самое смешное в том, что я-то не изменил своих взглядов, но вот, поди-ты, не приятен, ни тем, ни другим. Не потому ли иногда горько до вытья волчьего на душе...?

Последнюю повесть написал в так называемую сегодняшнюю туристическую копилку. Все понимаем, что необходимо привлечь в наши чудные ещё, слава Богу, сравнительно чистые места туристов из более многолюдных районов. Нужно рассказывать наши легенды, нужно воспевать прелести нашей природы, обращать внимание на историю и традиции нашего населения. Это, казалось бы, понятные и вполне доступные для решения задачи творчества, нужного становящимся сегодня на свои ноги турфирмам,

на поддержку которых в первую очередь и рассчитывал. Но, то ли бедны ещё, то ли не понимают необходимости и обязательности рекламных расходов, но помочь напечатать повесть не спешат.

Я не знаю, как выживают и печатают книги писатели там, в центре, но в провинции – это мало назвать проблемой. То, что названо культурой, здесь в любом случае не поставить на коммерческую основу. По сравнению с многолюдными регионами здесь никогда не соберёшь того количества участников для того, чтобы состоялся мало-мальский бизнес, способный сам поддерживать культуру на должном уровне. Значит нужно находить другие доступные формы развития и поддержки творческих начал в городе. Но, во-первых, к начальникам тех предприятий, что и могли бы помогать в этом, не пробиться через заслон охраны и секретарей. Надо признаться, я не любитель обивать пороги «парадных подъездов», и потому плохо знаю способы проходить сквозь эти заслоны, но, поверьте, чувство просителя, унижительное само по себе, в этих случаях уничтожает вообще всякое достоинство с обеих сторон и никогда не приводит к пониманию важности и необходимости взаимных усилий по развитию культуры в городе. Кажется, всем понятно, что в таком городе, как наш, при состоявшихся началах театра, в условиях дружбы библиотек, музейного центра, объединения художников, при благоприятно складывающихся условиях издательского дела, при многолетней деятельности городского литературного клуба, необходимо всему этому помогать и всячески поддерживать. Но как трудно порой подобрать нужные слова в больших и малых кабинетах...

На одном большом предприятии мне несколько раздражённо напомнили, что они не благотворительная организация и потому по указанию такой-рассякой Москвы решено отказывать на подобные просьбы. Не помогло даже напоминание того, что свои и городские праздники предприятие начинает с песни, посвящённой первостроителям, слова которой написаны вашим покорным слугой. К слову нужно сказать, не стоит всеу нашу столицу-матушку винить во всех грехах, хотя бы уже потому, что в одном из последних посланий к обществу президент толково и правильно упоминал о важности и силе нашего родного русского Слова. Но такое же непонимание я встречаю и в родном торговом порту, которому отдал когда-то семнадцать лет. Ещё один из руководителей, опять же через секретаря, отмахнулся на мои скромные мольбы тем, что якобы теперь, когда он стал большим начальником, у него сильно уменьшились возможности, и он не может, как раньше, помогать по всяким мелочам. Один из сравнительно молодых бизнесменов отмахнулся от меня тем, что якобы помогает только инвалидам, только детства и, глянув на меня, окончательно подытожил – только настоящим(!) инвалидам. Из сказанного стало понятно, что у него своё особенное понимание значения инвалидности. Но, сообразив, что со мной у него тут вышла промашка, напрямую с какой-то апостольской назидательностью вообще выдал прописной тезис из вульгарной политэкономии – а зачем вы пишете, если у вас нет прибыли...! Н-да! Я думаю, он никогда не поймёт и не увидит в жизни того, что приносит в

жизни настоящую прибыль. А может быть, я ошибаюсь, и мой молодой оппонент ныне уж мыслит несколько иначе. Дай-то Бог. А ещё в один важный кабинет совершенно не попасть, даже при том условии, что сам хозяин оного вступал в должность опять-таки под песню, среди авторов которой опять же значится и моя скромная персона. Конечно же, о том, о чём я сейчас говорю, стоило бы вежливо интеллигентно помалкивать, поскольку оценивать своё творчество и чужие поступки – занятие недостойное и пустое, но вероятно не в такие уж интеллигентные времена мы нынче обретаемся...

Нужно понимать, что любое творческое начинание рождается по капле, трудно, надрывно, с тратой нервов и физических сил. Никогда не знаешь, когда придёт порыв, мучительно ждёшь его, торопишь миг сей, но, увы, он грянет нежданно и также уходит неприрученный и совершенно неподвластный, оставив каплю души на листе кучкой малой слов, и словно опустошив кратко сердце, позволит ему чуть радостно и вольно колыхнуться в груди. Может быть, ради вот этого и изводишь его, напрягая думой...? Во многом это труд сам в себе, поскольку для многих, обратившихся к творчеству он значит просто уход в себя. И, как обычно, результатов творчества ждёт и востребует средина общества, способная всегда поддерживать и помогать, но духовно. И так уж устроены отношения людей, что тот, кто способен помогать материально, (а такую помощь хоть и без должных оснований принято считать важной и первостепенной) занят совсем не творчеством, а либо собой, либо капиталом, либо вообще бездельничает за чужой счёт. Такому не интересно, если его не просят напрямую о помощи. Сам же он отваживается на помощь в случае собственной заинтересованности или пристрастия, не более того.

На Руси (и не только) от пишущей братии всегда ждут много, как «...возрождения не от тленного семени, но от Слова живого и пребывающего в век...», вплоть до пророчеств и предсказаний. Но талант апокалипсического предвидения обычно живёт статикой отшельничества, некоторой оторванностью от реалий бытия и в то же самое время этот дар формируется книжной всесторонней образованностью, в большей степени вбирающей, пускай тенденциозно или рафинированным образом, но динамику жизни. Обычно пример евангельских пророчеств Иоанна подвигает одиночек упражнять сознание в видении картин распада и крушения людского сообщества. Принимая Богом данные явления множества культур, они не допускают их перемешивания во что-то новое, а находят в такой смеси лишь гибель. Отсюда неприязнь к городам, к этому противоестественному, не Богом данному скопищу людскому. Но в том-то и секрет признания, что нужно идти к людям, в массу, иначе присутствует налицо бессмысленность творчества только для себя.

Молодым, пробующим своё перо в литературе, нужно как можно раньше соприкоснуться с творческими людьми. Нужно находить возможность вращаться в местах, где творческая аура обязательным образом воздействует на подсознание, это клубы, музеи, презентации и всяческие собрания по поводу явлений в творчестве художников, фотомастеров,

журналистов, то есть там, где собирается пытливым народ, подпитывающий друг друга психоэнергетикой. Очень важны встречи с людьми, знающими и понимающими важность общественных задач в данное время. Важны так же связи в других городах, в Интернете. Как бы ни выглядели эти связи тщетными и напрасными, несомненная польза от них есть всегда, пусть даже и растянута во времени и пространстве, эта польза может в любой момент проявиться творческим прибитком. И нужно искать возможности публиковаться. Вот тут-то и важна любая помощь, в том числе и материальная.

Первоначальные юношеские позы тщеславия, рождённые в пробуждающемся сознании вероятно эгоизмом, Божьим промыслом, тем, что мы потом зовём даром, талантом, искрой и т.п. в следующие годы в определённых условиях развиваются в осознанное упрямое влечение к Слову, к его способности складываться в чарующие звуки, к его таинственной красоте, что каким-то чудом полонит душу трепетом и восторгом. Это влечение опять же в случае усилий и работы над письмом перерастает в умение находить и видеть свою правду жизни, которая, тем не менее, понятна и близка другим...

Что бы там ни говорили, литературное слово всегда направлено в какую-либо цель. Оно либо служит выгоде, как сказали бы мы ныне, бизнесу, самовозвеличиванию человека, к гордыне, самолюбованию, а значит, заводит в сложности, в разрастание до абсурда жизненных задач, в противоречие с самой природой. Либо слово зовёт к простоте, к отказу от поползновений в величие и всемогущество, зовёт к самоограничению, к скромности. Отсюда и разница в общественном отношении к творцам столь разнонаправленных литератур. Бизнес не будет кормить противоречащее ему слово, как и советская система, направленная в принципе на столь же усложняющееся разрастание вожделий, не кормила литературу смиренности и скромности...

Но, так или иначе, в творчестве должна стоять большая первостепенная цель или если хотите задача. Примерно такая, как у Пушкина: «...в жестокий век восславил я свободу, и милость к падшим призывал!». Понимание такой большой цели ведёт к служению. Иногда это останавливается лишь на служении Слову, его чарам и величию. Тогда мы видим явление литературы сильной, точной, выверенной, но холодной, без связи с чувствами. Когда же служение задерживается лишь на чувствах и позывах из потёмок подсознания, является увлечение фантазмагориями, страстью и тёмными силами. Тогда большая цель невольно рассыпается на осколки так называемых не менее сложных малых задач, что когда-то красиво определены Есениным: «Слишком я любил на этом свете, все, что душу облекает в плоть...», т.е. всё то, что потом мы, в общем, наверно, неправильно мешаем в кучу – любовь, суета, работа, родина, будни и вновь суета...

И прежнюю важную задачу видеть в человеке возвышенное, чистое начало никто не отменял. То, что ныне элементарную распущенность

оправдывают Фрейдом, вряд ли понравилось бы самому Фрейду. Он познавал взаимосвязи Божьего и дьявольского в натуре человека, как врач, использующий такие знания во благо, проявляя и умножая истоки добра в личности. И то, что его открытия применимы кем-то совсем не во благо, не его вина. Лицемеры, сравнивающие обнажённые тела Пуссена с раздеванием в стрип-барах, были всегда. Они лишь намерено не договаривают о том, что у картин нормандца восторгается в большей мере дух, а в баре – похоть...

...Ещё одним немаловажным побуждением братья за перо, я думаю, у многих является желание со своей сословной ступеньки подать свой голос в обсуждение вопроса о государстве. То, что этот социальный механизм складывается в результате многообразия движений в обществе – факт, не требующий ныне доказательств. Но именно то, что во многом этот механизм подчинён всегда силам, направленным к обогащению единиц и совсем не в пользу масс, показали последние времена.

Прявят и верховодят народами всегда в основном циники и прохиндеи. Преступники ещё времён отечественной войны прилюдно на суде размашисто крестятся, и не понятно – призывают ли небо себе в помощь и оправдание, либо благодарят Его за то, что помогает избегать возмездия уже более шестидесяти лет. Бандитоподобные группировки министров и чинуш высших рангов съезжаются на толковища и делят мировые ресурсы, распорядившись единоначально и землёй и людьми, и всем чем богаты страны. Производства задумываются в угоду именно этим чинам, но вовсе не в пользу народам. Вычурная состоятельность и сверхприбыли этих групп требуют от народов всё больших усилий, в то время как пропагандистский механизм преподносит развращённое излишествами потребление верхов важным и необходимым условием развития цивилизации вообще. Но так уже было, и не раз! Слово мир периодически окунается в эпоху Древнего Рима. Разве не в таких же условиях развращённого вседозволенностью и роскошью верховенства тогдашних правителей империи и одновременно обездоленностью отодвинутого от участия в жизни вообще общественного низа, рождалась идея неучастия в том способе производства, окрепшая потом на развалинах империи в совершенно завуалированном виде в институтах христианства...?

Ныне народы, устремлённые к абсолюту потребления, к вершинам изобилия лишь грабят природу, уничтожая леса и недра, строят вскоре разваливающиеся гигантские сооружения и падающие периодически аэропланы, создают чудовищные мегаполисы, поражая воображение неискушённых людей дутым изобилием и мнимым довольством. Циничное вовлечение народов в безудержную гонку выгодно лишь небольшой группе верховодов и правителей, по сути своей солидарных всегда меж собой и сплочённых способом процветания на труде миллионов. И финансовые глобальные кризисы – это аргумент богачей в доказательство народам важности и необходимости пути, по которому они «ведут» цивилизацию к всеобщему благоденствию. «Посмотрите, что будет без заводов и фабрик, без нефти и газа, без леса и недр, без нашего руководства...». Если советское

государство, пусть и в декларативной форме, пыталось направить силы в сторону разрешения проблем эксплуатации и социального расслоения общества, то постперестроечное государство явно служит в большей мере олигархическим устремлениям единиц. И вот в надежде быть услышанным каждое сословие, должно быть, использует все доступные формы, включая и литературное слово, внося свой голос в обсуждение проблем несправедливости и социального расслоения общества.

...Поговаривают о сложной и неблагоприятной судьбе обращающихся к литературному труду сегодня. Но так было всегда! Уж куда более значимы и востребованы были в своё время, как писатели, евангелисты, а как жили, а уходили как...?!

Работа пишущего действительно сугубо индивидуальна, трудна и непредсказуема. Но ошибаются те, кто думает, что сам достигает вершин признания. Многого бы стоило откровение Иоанна, если бы его не передавали из уст в уста миллионы и миллионы? А хорошую сильную книгу сделать – это вообще во многом не писательская заслуга. Это благодаря поддержке друзей и «святым узам товарищества», что всегда живы меж настоящими людьми, и создаются, в конце концов, произведения. Конечно же, много зависит и от власти, что впрочем, было всегда. Если власть пытлива и просвещена, то и окружение её велико и многозначно, хотя обделённых и обиженных и там предостаточно. Так уж устроены люди. Ещё, может быть, во мне самом ещё не потухает пламень не востребованности из прошлого века; потому и гражданская позиция остаётся донине на стороне несправедливо обиженных стариков и обездоленных людей труда. И хотя мою эгоистическую душу индивидуалиста теперь уже сложно прошибить какой-либо лозунговостью, гуманистическая позиция обязывает «помнить имя своё». Тут каким-то образом понимаю обидную запоздалость прихода к читателю многих из нашего поколения. В том вина ...того времени. И, тем не менее, было бы совсем несправедливо, если бы сегодняшние размышления навсегда остались в неизвестности.

...Не могу не задумываться о сегодняшнем общественном состоянии. Не покидает и меня чувство тревоги за судьбу детей и родины (и с большой буквы в том числе). «Вселенское» непостижимое устремление к потребительству, вызывающая вседозволенность – что это? На самом ли деле мир таков, или это только субъективное понимание его изменений моим консервативным сознанием? Понимаю, старшее поколение, к которому начинаю относить и себя, видит и желает видеть мир всегда немного другим, менее динамичным и менее мобильным. И управление обществом было другим, построенное на других законах, в других условиях. И, конечно же, происходящие изменения порождают противоречия в моём видении мироустройства и тем самым вызывают страх и тревогу. Новые отношения кажутся более жёсткими и менее человечными, и, кажется, ведут к разрушению жизни вообще. Но сознанием понимаешь многогранность и бесконечность жизни и начинаешь подозревать, что так было всегда на изломе эпох. И вот эта разность восприятий изменяющегося социума в

сегодняшней ситуации порождает и разные картины будущего. С одной стороны это гибель и разрушение, а с другой позиции это закономерное проворачивание (опять же в бесконечном...) людских отношений.

Мир стал более поляризован и в экономике и в политике на уровне индивидов, но ушла жёсткая полярность на уровне стран и народов. Хотя я, может быть, здесь ошибаюсь и не понимаю, кто сейчас занимает полюс, заряд которого нёс социалистический лагерь. И тут же понимаю сохраняющуюся и увеличивающуюся полярность между богатыми и бедными странами, точно такую же растущую пропасть вижу между людьми. Тут же, при сохранении существующих форм и темпов производства якобы есть возможность роста материального благополучия в обществе и в мире вообще, при условии рационального регулирования процессами производства и распределения. Но в это же самое время более трёх миллиардов населения планеты живут на один доллар в сутки. И это ведь усреднённая цифра, а на самом деле громадные массы находятся на грани выживания вообще (и в России в том числе). А на другом полюсе роскошь и ничем не объяснимые излишества. И именно это говорит о неразумности и производства и распределения, и именно понимание этого будет толкать многих и многих «искать справедливость» и «правильно делить». А в «поиске и дележе» всегда присутствует вероятность драк и кровавых переделов. Хотя, то, что я назвал выживанием, есть одна из форм жизни людей. Плохая ли, хорошая – это как посмотреть. Можно ведь жить, обходясь «ковшом воды и куском хлеба», возделывая небольшой участок земли. И этого действительно хватит на всех. А можно... каждый день принимать ванну, душ и бассейн одновременно, но для этого уже понадобится труд многих и многих на громадных территориях. И вот тут-то проявляется абсолютная несостоятельность «бассейнов для всех» по одной простой причине ограниченности природных ресурсов. Вот тут-то приходит самое смешное: « и все будут богатыми кроме... бедных...». Уходят какие-то одни формы отношений, приходят новые и часто непонятные. Но разве прежние отношения были справедливыми? Они были привычными, вернее они стали в определённый момент привычными...!

Посмотрим в начало двадцатого века, когда страна приступила к построению социализма. Новизна и непривычность новых отношений одним несли «гибель и распад мира», а другим обещали «новое счастливое завтра». Разве обобществление средств производства, гражданская война (Туркестанский фронт официально существовал до 1933г, и потом ещё три года неофициально ликвидировалось басмачество), концентрация рабочей силы в мегаполисах, индустриализация и электрификация не были такими же беспощадным насилием и эксплуатацией человека и природных ресурсов, каковыми сегодня видятся приватизация, локальные войны, автомобиль, химия, атом и космос? «Революционные преобразования» в коллективизацию были для российского крестьянина тем же самым, что сегодня для советского селянина отказ от колхозных форм хозяйствования. Та же гибель, тот же распад привычного уклада жизни для одних, а другие в

это же самое время видят возможность новой жизни и развития. В таких условиях на первое место в обществе от его природы не может ни выступить психология рвачества («после нас хоть потоп»), неприкрытого хамства и вседозволенности, на этом расцветает и определённая культура, искусство, определённое видение мира. Отсюда шатания, поиск, вывихи и т.п. И это истины, подмеченные не только нами, и не только в наши времена. Понимаю, что какое-то время необходимо для «привыкания» к новым условиям, для того чтобы в обществе в противовес упомянутой психологии в новых условиях уже под влиянием сознания людей возросли и укрепились достоинство, разум и обязательно умеренность, воздержанность, скромность во всём – в потреблении, в труде (да, да! и в этом тоже), в поползновении человека на главенство в природе и т.п. Это происходит до тех пор, пока не сложится некая система отношений, вбирающая в своё действующее состояние большее число людей в обществе, так или иначе задействованных в эту систему отношений, с точки зрения людей не всегда и не во всём справедливых, но, тем не менее, позволяющих какое-то время жить обществу без всеобщей «войны всех против всех». До сих пор в природе человека, так или иначе, периодически уравнивались все эти противоречия, несмотря на пессимистические прогнозы, на рецидивы «повсеместного» проявления зла. По всей вероятности в это же самое время крепнет и множится добро. Хочу всем своим УРАЗУМЕНИЕМ ВЕРИТЬ (как бы не проглядывало явное противоречие в этих понятиях) наперекор собственному колебанию и пессимизму в ПРИРОДНОЕ РАВНОВЕСИЕ блага и зла. И это не примиренчество, не конформизм... Это вывод из собственной жизни, становящийся вероятно теперь уже принципом на остаток лет, заставляющий посылно множить добро, может быть и тем вот, что пробую писать...

И тут на сей счёт ещё потянулась нить несколько иных размышлений. Кажется, оруэлловское определение «Зачем пишу» основывалось на пяти основных мотивациях, побуждающих человека обращаться к перу. В каком порядке англичанин располагал эти мотивы, я не припоминаю, и потому расставил их по-своему, как Бог на душу положил.

Первое это желание жизненной правды, стремление отыскать (раскрыть) эту правду и передать людям. Ко второму отношу политику – это вероятно мотив сродни первому, но в более широком смысле – попытка влиять на общественное устройство. Третий мотив поэтического восприятия мира. Это то, что мы обычно называем красотой, искусством, восторженностью и т.п. это, в том числе и умение владеть языком, как его фонетическим рядом, так и смысловыми оборотами и логикой.

Четвёртое это способ зарабатывать на жизнь – довольно прагматичный и вполне объяснимый мотив. На последнее место ставлю тщеславие – настойчивое, неиссякаемое желание быть первым, умным, незаменимым и т.п. (во второй половине жизни мотив сей постепенно, несомненно, теряет своё значение). Четвёртый мотив у нас вероятно сразу же можно опустить. Покажите мне того, кто сумел сносно заработать на жизнь литературной деятельностью? Один-два и обчёлся... Тщеславных, правда, и у нас много. А

где есть место тщеславию, там всегда есть надежда на успех, а значит, есть и надежда на заработок. Так вот, я бы, шутя, последние два пункта объединил и сказал, что одним из мотивов писать на Руси есть ТЩЕТА ЗАРАБОТАТЬ лишний кусок. В этом, думаю, будет заключаться и тщеславие, и надежда, и работа, и, главное, неиссякаемое желание хоть что-то значить в этом мире. Здесь главное попасть в нужное время в нужном месте, как говорится, «в обойму», и оказаться нужным системе. Ну, а не случилось..., так тому и быть. Но Слово остаётся в любом случае. Зато очень серьёзным у нас всегда считался и считается мотив поэтического восприятия жизни, не говоря уже о первых двух мотивациях. Искать правду это наше. «Вот покамест наше предназначение. Русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить...» – как бы сказал из девятнадцатого века Евгений Баратынский. Потому-то у нас всегда хватало политиков и поэтов, «пророков и бродяг»...

...В обществе давно назрела необходимость признания многих «нематериалистических» закономерностей миродвижения, необходимость поиска высших целей всего того, что мы в обыденности зовём натурой, природой вообще и природой человека в частности. Советское сознание ограничивало такой поиск грубой материалистической целью – построение коммунизма. Это сыграло злую шутку с нами – в момент развала системы вдруг оказалось, что защищать нечего. Материальное вмиг растащили, часть, уничтожив вообще, а вот из духовного оказалось ничего-то и нет, что стоило бы оградить от разбазаривания. Припоминается очень правильное из М.Горького – «...человек выше сытости». Но именно неправильно поставленная задача такой сытости в советские времена предательски повернула ныне общество в сторону ещё большей «американской» сытости, основанной на малообъяснимом не славянском стяжательстве. Заглядевшись на большую сытость наше безбожное общество, действительно стоит перед проблемой нравственного распада. Что выдвинет оно в противовес материалистической устремлённости – Бог весть. Древний мир медленно (400-500 лет) упорно распадался, обращаясь к общественным формам «военных демократий» кочевников, способных в те времена воспроизводить род людской и числом и качеством, тем самым продолжаясь в новых формациях, подкрепляя их множеством идеологий и воззрений, так и не могущих до конца объяснять мир. Например, христианство за это время смогло вырасти лишь в институт церкви с множеством межконфессиональных проблем и противоречий, так и не основав до конца истинно справедливого, уравновешенного с Миром общественного состояния.

... В наши времена к церкви одними из первых пошли люди со свалившимся вдруг излишним достатком. Пошли искать оправдание такого свершившегося «чуда» собственного обуржуазивания. А без Всевышнего метаморфозы с народным достоянием и не объяснишь. В сознании нерелигиозного человека такие превращения объясняются единственным – грабёж, делёж, кто смел, тот и съел и т.п. На самом же деле такие процессы в обществе намного сложнее, и потому наиболее правильно понимаемы

сознанием, охватывающим проблемы всего миропорядка в данное время, сознанием, способным абстрагировать многие события и явления. Такому сознанию советское общество не училось. Религиозное же сознание есть одна из форм такого абстрактного мировидения. Потому за такой наукой поспешили в церковь многие, надо признать, и те, кого время бросило вниз социальной пирамиды после того, как в советскую эпоху они пробивались намного выше и достойнее, и те, кто каким-то образом сохранил своё местоположение в этой пирамиде, понимая, что это действительно «чудо» – остаться на плаву в такие гиблые времена. Одним словом, к церкви пошли за тем, чего не давала советская идеология, ограничивающая общественное сознание жёсткой конструкцией упрощённого материализма. Я говорю именно к церкви, поскольку к Богу, надо понимать, дорога дальше и сложнее...

Но, кинувшись к религии за объяснением сегодняшних «чудес» с сытостью, совсем упустили из понимания то, что изначальные принципы Христа основываются именно на отрицании такой сытости, на противлении вообще миру грубого материального достатка, тем более избытка («...не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут...» Матф.6:19). Когда-то пресытившееся рабовладельческое общество, сложившееся на избытке рабского труда, столкнулось с проблемами нравственного порядка. Забрёдя в тупик сытости и довольства, вершина того общества давала отвратительный пример противопоставления человека природе, пример вырождения и распада. Другой, противоположный пример выхода из-под социального гнёта, выхода вообще из состояния пирамидальности подавали снизу общественные ячейки(коллегии) бедноты, вынашивая принципы единения с природой, отказываясь от насилия и излишеств при пользовании её благами. В принципе, с подсказки природных ограничителей (например: страх, чувство самосохранения) человек, воспитывая самоограничение, и состоялся как существо разумное. Аскетизм, упрощение жизни, укрощение чувственности – именно в такой среде рождалось христианство. Иисус практически снизу звал отказаться от существующего общественного состояния, видя в первую очередь в устремлённости к материальному благополучию зло и первейшую причину людской розни и конечной гибели. Подняться к такому пониманию проблемы у человечества нет ни желания, ни духа до сих пор. Но актуальность этих идей периодически проявляется в новом свете в других экономических условиях, и вновь и вновь показывает гениальность и божественную абсолютность зачинателей. Первых христиан травили зверями и казнили прилюдно совсем не потому что их Бог оказался выше и значительнее императора («олимпийцы» например тоже в те времена были «зримее» и величественнее любого императора). Последователей Предтечи, а затем и Христа гнали в первую очередь за то, что они вольно или невольно звали не участвовать в том производстве, которым жило рабовладение, призывали искать другие отношения путём отстранения, неучастия и т.д. Это самый гениальный, наипростейший и доступный абсолютно для всех путь до

сих пор. Казнили в большинстве за бродяжничество, за кликушество, и лишь когда церковь, выживая и приноравливаясь во времени, отыскала формы более лояльного отношения к эксплуатации рабского труда, имперское величие примиряется с идеями Христа.

...Люди, подвигаясь в материальном развитии, изобретая массу полезных вещей, научившись многому, создавая запасы и житницы, тем не менее, исстрачивая на свои нужды все природные возможности, не найдя способа равного распределения их меж собой, ни на йоту не стали счастливее, не прибавили ни чуть мудрости и добра (незначительные отключения электричества в мегаполисах мгновенно выливаются в катастрофу и плодят мородёрство), не нашли избавления от болезней и страдания, и самое главное ни на миг не приблизились к бессмертию. Но всё это в той или иной степени дают людям религии. Потому актуальность их определена навсегда.

Человека, так или иначе, должны заботить проблемы высших взаимосвязей, высших целей, иначе он обречён на вырождение. Кто ты, зачем ты? Это не праздные вопросы, доставшиеся нам от изначал человеческого исканий. И надо признать сегодня ответов на них сравнительно больше, чем скажем в начале двадцатого века. Например, развитие кибернетических наук, постигших возможность в миниатюрнейших чипах хранить бесконечные величины информации, говорит нам о том, что связи и цели в природе намного сложнее и неразрывнее, чем это виделось в материалистических учениях век назад. (Но кибернетика делает это с помощью великих людских усилий, растрачивая множество ресурсов, а наш мозг, словно бы не пользуясь ничем, делает это шутя. Значит в природе существует возможность вообще накапливать и хранить всю информацию буквально во всём и на всём. Нужно только понимать, как это происходит. Пока же человек идёт тяжким путём, вымучивая у природы её законы, строя заводы и фабрики, чтобы, растрачивая недра и сырьё, изготовить маленькую пластмассовую деталь – вульгарнейшее подобие нашего мозга, созданного легко, без затрат, как лёгким дуновением мага-волшебника.)

...Люди, зовущие к материальному благополучию, всегда и со всех сторон в выигрыше. Они тут, рядом, благополучие их вычурно и осязаемо; они деятельны и активны; они многочисленны, они зримы. Скажите то же самое о ступивших на путь спасения...? Нет! Здесь будет совершенно противоположное – они уединены, и тени минимального благополучия нет рядом, они немногие. Но, понимаю, здесь неуместно сравнение! Они из разных величин, если не из разных миров. Первые, устремлённые во всём к возрастанию (к разрастающимся потребностям в том числе), приходят в результате к усложнению всего и вся, к нагромождению идеологий, как оправданию непотребств и несовершенств, к усложнению морали, к усложнению отношений в обществе. Эти усложнения, в конце концов, складываются в абсурд, несуразицу и требует непременно разрешения (например – реформой или революцией...). Несправедливость заложена в самом принципе возрастающего производства – сделать больше и больше. В

любом случае это достигается тогда, когда общество излишествует в труде, когда намеренно насилуется функция общественно необходимого труда. Это одинаково плохо и когда эксплуатируется просто масса людей, и когда работают машины (ведь принцип эксплуатации был применён при производстве машин и никуда не испарился из материальности людских отношений). Внизу наоборот силы устремлены к упрощению, может быть с таким же упорством создавая абсурд в другом направлении.

...В размышлении над этим люди всегда останавливаются перед перспективой воцарения всеобщей лени, дикого анархического разгула – либо в противовес этому, безжалостной казарменной дисциплины. Правы наверно все-таки те, кто, начиная с себя, поступают согласно требованиям природы – жить в согласии с совестью, в гармонии с миром, избирая поводом не наслаждения и удовольствия, а скромность и воздержания, умеренность и пр. В самоограничении, в жертвенности высшим целям, в умении усмирить дерзость и неудержимость своих поползновений – вот вероятно по-прежнему первейшие основы устремления человека к единению с природой. Что практически человек и делает всю жизнь с переменным успехом, усмиряя гордыню, приходя к вере. Почему вера? Да потому что только таким путём можно отвернуть человека от насилия над своей природой. «Бога бойтесь!» – это нужно давать с детства. Это потребность его естества, потребность природы, требующей от него смиренности. Более или менее логично и приемлемо для познания излагать эти требования удаётся многим философам, в том числе и Христу. Но вот одержать какой либо верх или перевес в столкновении идеологий до сих пор призывы этих мыслителей не могут.

Рассказывают байку: Сенека, как известно, в дополнение ко всем своим добродетелям философа был состоятельным богатым сановником, живущим в достатке и роскоши. Во время одного из заседаний сената, когда он долго и умно говорил о скромности, умеренности и прочих добродетелях из того же ряда, кто-то из сенаторов с упрёком заметил:

- Сам-то неплохо приспособился...

На что Сенека многозначительно поднял указательный палец: - Философы говорят не о том, как живут сами, а о том, как надо жить всем... Отказ от материалистических устремлений – вот непреодолимая преграда на пути нестяжательства. Это «абсурдная задача» в любые времена, при любом состоянии общества. Но это единственный путь примирения природы и дерзости человека. В сегодняшних экологических проблемах это всё более и более проявляется. Но размышлять над этим у молодости нет навыка, у старости сил и времени. Вот эту науку мыслить об этом и нёс Христос. Видеть начала свои в Отце(природа), быть продолжателем в Сыне(труд) и возвышаться пониманием к Духу(творчество) – это понимается и не религиозным сознанием и потому бессмертие душ видится в праведности вероятно в силу всё-таки материальных связей благих поступков и дел с тем, что вообще называют «мировым разумом». Благие намерения и праведность сообразуются в миропорядке с общим устремлением природы к

бесперывному продолжению, не возмущая сил противных и разрушительных. И это вероятно знают люди ещё от «сотворения мира», но нет-нет, увлекаясь сомнительными достоинствами материального порядка, сворачивают туда, где эта материальность увеличивается совсем без праведности и не во благо.

Бессмертие душ состоит в их единении, в памяти людской, общей, складывающейся, в конце концов, в единую общественную совесть, коей надлежит бесконечно прирастать поступками и делами из поколения в поколение, и которая на самом деле способна сдерживать человека от пагубы и засилья зла, от излишеств и самоуничтожения. Эта совесть, что бы там ни говорили, материальна и невидимыми нитями неведомой нам связи всё время напоминает о единстве и бесконечности мира.

...Люди, вероятно, делятся по своей натуре на несколько типов. По крайней мере из истории христианства всегда можно выделить два почти полярных взгляда в становлении этой идеологии. Ещё во времена первых последователей Иисуса, когда подавляющая сила Рима была очевидна и ждать победы над этой силой можно было только от помощи свыше, часть поклонников новой веры в поисках такой помощи находили путь в неучастии, путь в уходе из состоявшихся общественных устоев к другим отношениям, основанным на милосердии, отрицании насилия и пр. Другая же часть, становясь на позиции активного сопротивления империи, группировалась в вооружённые организации (напр. – зилоты, сикарии), не уповая на уход и непротивление, наоборот вступала в борьбу с существующим общественным устройством, часто впрямую противореча Христу и выдвигая своего мессию. Или пример раскола русского православия в семнадцатом веке. На поприще протеста против скатывания общества к безбожию многие «ревнители благочестия» объединились в один «кружок», но, взявшись за реформы церкви, раскололись на два враждующих лагеря. Одни приравнивались к потребительскому всеволию общества, другие, почитая прежние каноны веры, призывали быть выше, непримиримее. Аввакум отстаивая «старую веру», обличал в первую очередь чревоугодие, пьянство, разврат, корыстолюбие священнослужителей, а затем и всего общества, движущегося в «гиену огненную». Он проводит прямую связь состоявшихся церковных новшеств с «римской блудней» (с латинством), от которой отделаться можно лишь отвернувшись, не встречаясь, уйти...

...Ужасающая межсословная пропасть, разделившая окончательно в перестроечные годы людей не только экономически, приводит, к сожалению, во времени низ и верх общества к поляризующимся, обособляющимся друг от друга философиям. Сверхсостоятельность, богатство напоказ, изощрённость в потребительстве наверху обязательным образом втягивают в своеобразную гонку за наживой всё общество. Так устроены люди. Но вскоре понимание невозможности достичь того, чем владеет верх, в самом низу формации порождает движение в противоположную сторону. В таких условиях идеи противления выражаются в самых удивительных формах.

Если невозможно достичь, значит нужно отказаться! Это самое простое и доступное средство, к которому всегда прибегает сознание. Отказаться и сделать отказ совершенством, важным и недостижимым, как и сверхуспешность, т.е. попробовать потянуть на себя свойства противоположного социального полюса. Пропасть между богатыми и бедными порождает не только соревновательность в обществе, не только стимулирует экономические процессы, как это подчёркивают всегда идеологи и защитники буржуазного устройства, но такое грубое разделение порождает зависть, межсословное непонимание, неприязнь, и, в конце концов, вызывает разность мышления, разность философий, разность идей и устремлений. Состояться человеку в самом низу, исполняя требования своей природы, и осознать до конца свою сущность без надлежащего экономического состояния невозможно. Потому-то он начинает искать идею, которая оправдывает его положение, искать опору своим пониманиям мироздания. Таковы корни всех верований. Так было и... будет всегда, если только разница в состоятельности людей будет слишком большой. Пока эта разница невелика, людям снизу есть резон подтягиваться за верхом, но как только разница недостижима, нищему проще идеализировать своё уничтожение, доводя до абсолютного аскетизма. Что и подтверждает время от времени появление религиозных сект, предрекающих «конец света» и вынашивающих радикальные идеи ухода из общества вообще.

...Поставленная ныне грубо-материалистическая задача повышения благосостояния общества быстро исчерпает свои возможности увлекать людей в одну цель. С наступлением пресыщения малого верха и неудовлетворённости большого низа происходит «взрыв». (Это, например, можно было наблюдать по итогам социалистического построения общества). Систему взрывает, в конце концов, придавленный интеллект. И благо если он сформировался в условиях социального «пресса» в позитивном направлении и поведёт строительство новой системы в сторону гуманистических преобразований. А что если «взрыв» был сформирован, лишь в сторону материалистических, грубо-потребительских требований? Тогда его действие в рождении новой системы окажется более негативным с точки зрения общечеловеческого понимания справедливости, понимания, требующего всегда постановки более возвышенной, более духовной задачи...
г.Находка

2008г.

Сквозь времена и цепь сословий

О. Я., на его барона Мюнхгаузена

...Далёких зорь кровавую завесу
Бродяга-ветер в клочья рвёт,

Под зов безжалостный прогресса
Я сам всхожу на эшафот.
А мысли студит миг жестокий,
На плечи – неба синь-снопы!
Теперь я вдруг... не одинокий
Здесь, над презрением толпы.
Отсюда века ближе лик,
К нему судьба моя вскричала...
А смерть – лишь пробужденья миг
И, как бессмертия, начало...
1973г.?

Памяти О. Янковского

...Сквозь времена и цепь сословий,
Через пространств великих жуть
Мне не отправить послесловий,
Руки к руке не протянуть,
В ответ приветствий не услышать,
Не уловить в прищуре глаз
Усмешки милой... – это свыше
Уже торопит Кто-то нас.
И безответно стынет чувство,
Ослабла тоненькая нить,
Что не могла простым искусством
Нас без знакомства подружить.
Так мир безжалостно устроен:
В нём прежде нужно умереть,
Чтоб случай счастьем удостоил
Без дружбы дружбу одолеть.
Теперь иллюзии утратив,
Мне на оставшемся пути
Дано, неузнанному кстати,
На встречу доблестно дойти...
20 мая 2009г.

Отрывок из повести «Родня» (Н. Тертышный, Владивосток 2000г).

«... Подошли уж все сроки своё пройденное оценивать, себе оглянуться из второй половины в ту, скоротечно промелькнувшую, первую. Тем, кому сегодня пятьдесят или чуть больше, чуть меньше, уже есть что взвешивать.... Детство – счастливое, советское, на «развалинах сталинизма», когда догрохатывали отголоски войны на задворках в мальчишеских шалостях с найденной случайно гранатой или горстью патронов. И ещё детство

помнится стриженным «под ноль». Мальчишки младших возрастов, как и новобранцы в армии в обязательном порядке подстригались налысо. Это теперь из сегодняшней маломальской сытости понимаешь, что не от хорошей жизни это было. Стригли детей, потому что всегда была опасность завшиветь, потому что не хватало мыла. Плохое питание и плохая одежда..., но это плохо помнится, всё перевешивает детское обострённое чувство устремлённости к новому, к лучшему. Потом юность – сплошная «оттепель», великая распутица целины, когда спасают только кирзовые сапоги да родимая фуфаечка. Чего уж греха таить – до сих пор привычная амуниция исправно служит рабочему люду. Оттуда же помню крестьянский дух от маминой одежды. Из тех же лет помнится первый телевизор у зажиточного соседа, к которому половина посёлка ходила ватагой смотреть «голубые огоньки». Ещё помню вагон-клуб, регулярно радующий хорошей кинокартиной. «Я иду, шагаю по Москве», – помните...? Никита Михалков? Тот..., свой, простой и понятный. Ещё без усов и... не барин. Вот кому бы признаться в восхищении, если это не поздно сделать после стольких лет! Хотя, наверно, не стоит этого делать, потому что в таком же восхищении пришлось бы признаваться многим тогдашним из «оттепели» молодым и открытым. Тогда стоило бы отправить и Олегу Янковскому свою поэтическую пробу с моим неразделённым чувством любви и признательности. Сегодня же я говорю только – спасибо, за то, что вы были, ребята, что вы, хотя и не все уж, есть до сих пор.... Мы есть ещё! «...это юность не простившаяся с нами...».

Первое стихотворение, опубликованное в моём небольшом сборнике «У дерзновенного начала» (Владивосток 2002 г.), было написано много лет назад вероятно под впечатлением роли Мюнхгаузена, сыгранной Янковским в кино. Это было так давно! Кажется, в начале жизни! Очарованием того времени, романтикой его, должно быть, оказалась сильна и вся жизнь, и, конечно же, не без личности великого актёра Олега Янковского...

Стихи от 20 мая 2009 года написаны после известия о его кончине. Плачу, словно утратил то начало...

Приморский край.

И думы светлые, как день

«...В ясные лунные ночи мальчишки любили гоняться друг за дружкой на поляне за околицей у небольшого сельского кладбища. Им ничто не казалось необычным в этих визгливых играх среди летней ночи в хрусткой луговой траве, под взглядом добродушной луны. Впереди потягивая, носился, как угорелый, здоровенный щен неизвестно каких пород. Чуть отставая, бегал мальчуган помладше, от восторга захлёбывающийся до икоты. Следом летал старший, белокрысы, с длинными руками, почти взрослый, но которому ещё нисколько не приходило в голову задуматься о

своём возрасте. Шерсть рыжего, словно огненного пса под луною была серебряною, как и белая голова старшего из мальчиков...».

Это из моих давних прозаических заметок «Мимоходом». Так помнится детство, всё более расплываясь в сознании, словно удаляясь вслед за чьей-то другой, далёкой, но до сердечной боли знакомой и близкой судьбой...

С 2008 года с ним нет хорошей связи. Короткий звонок на Новый год, два-три слова, два-три вдоха и... прощальный долгий гудок, эхом затухающий, словно ослабев, покрывая трёхсоткилометровое расстояние между Находкой и Арсеньевым. И молчок опять до Нового года. Сегодняшний тесный мир, казалось бы, должен связывать накрепко дружбою и общением родственные души. Ан, нет! Врозь живём, каждый в своём мирке, словно весь большой мир раскроили на маленькие доли и довольствуемся тем. Не связывает и творчество. Ныне повсеместно ценится искусство пародии, отшлифованное в бесконечности вариаций. Буквально во всех жанрах получает добро попса, приспособившая в своих интересах багаж старых устоявшихся испытанных произведений. Новое либо вульгарно, либо опять-таки низведено до пародии. С этим искусством невозможно соревноваться, оно агрессивно и воинственно. Рядом с ним выживают, лишь подлаживаясь, угодничая и подражая. Рассчитанное на массу, оно становится бизнесом и служит теперь только денежному мешку...

Но бывало, в начале нового тысячелетия с нетерпением ждал писем и книг от него, скоро и много писал в ответ и снова ждал. К нему тогда устремлено было немало пылких сердец, исполненных вдохновением и поэтическим восторгом. И всех он удивительным образом умел принимать и печатать в своей газете «Лукоморье» и народном литературно-музыкальном альманахе «Живое облако».

Как бы недооценивали роль таких изданий, несомненно проявляющее и связующее влияние их в самом низу творческого брожения, где так важно получить первые оценки и писательский опыт. За такую работу никто не берётся, и надо низко поклониться зачинателям таких публикаций за их правильное понимание, поставленной временем задачи проявить и каким-то начальным образом объединить пишущих. И он совершенно правильно делал, когда выходил на связь даже с самыми дальними корреспондентами из разных углов не только Приморского края, но и страны, откликающимися, так или иначе, на призыв к единению на условиях несовершенной экономической базы издания своей газеты. Печать, публикация – вот что изначально объединяет интересы обратившихся однажды к Слову. И своё влияние, и помощь многим в этом смысле «Лукоморье» без сомнения оказывало.

Сегодня у многих прошедших его школу стоит более важная задача – быть услышанными. Это уже другой уровень, другие возможности, которых никогда по многим объективным и субъективным причинам его почившее «Лукоморье» не обрело бы, но та роль, какую сыграла газета на начальном

этапе литературного становления многих из ныне продолжающих писать, по-прежнему никуда не пропала, и продолжает незримо объединять творчеством «лукоморцев».

Очевидно, меж наших слов и редких приветов есть дух родства. Но в последние годы не пишу ему. Молчал и он. И вот в самом начале июля письмо! Как всегда простое, волнующее, плохо пропечатанное вручную: «...задумал новую книгу «Отыщи нежнее слово». Напиши мне... о нас, о судьбе и, конечно, о стихах...».

И вот сознание уже выхватывает из массы его стихов удивительно близкие и понятные строки:

Солнце рыжее ласково манит,
Расплетает рассвет узелок.
Рыжий мальчик бежит по поляне,
Рыжим мячиком скачет... щенок.

Нет, щенок это у меня, у него – бульдог. Да, да у него – бульдог. Но всё равно – собака, поляна, рыжий мальчик, и «непосредственность детской забавы – за рассветом беспечно бежать». Вот так с восторгом, поразительно с небольшой разницей лет повторяясь чуть позже для меня, из полу-сельской приморской среды начинался Мир поэта Николая Морозова.

Была какая-то невысказанная тревога в его письме, в котором он жаловался на неурядицы в доме и в огороде, на разлад с больной женой, на тяготы по уходу за беспомощной сестрой жены и т.д. Потому приступая к ответу я медлил и пытался тянуть нужную мысль из памяти, но не получалось всё, и томился в поисках слов правильных и сожалел о долгом моём неведении дел его.

Невольно пугали его строки из публикаций 2010 года: «бродит кошкой в квартире бессонница», «я рассвету, как доктору рад», «обиженный судьбою», «свечой горю, и выдох может быть последним», «отлетели, поникли года», «и врача, не знавшего болезни, нынче от инфаркта не спасли», «уходят старики неслышным шагом», «не торопись закат ко мне», «это одиночество и пьянка», и совсем уж какое-то отрешённое и трагичное – «я в России бездомным живу». Я понимал, что это от не признанности, от провинциальности своей, от усталости...

В его метаниях («поверил городу, обрезал бороду, в селе оставил горький проигрыш тоски»), в поисках формы, интонаций, образов всегда проглядывает неизменно восторженное поэтическое видение Мира: Перемелется обида, и мука

На чугунных жерновах не потемнеет.

Поэтическая новая строка

Снова вспыхнет и кого-нибудь согреет.

Нет-нет из-под пера у него срывается песенный, если не частушечный наив, о какой-то уж упрощённый слог:

Я давно здесь приземлился,

И в природе, как в раю,

И хозяином землицу

Полюбовно шевелю.

Но тут же проникновенное, цепляющее за душу: «заря легла на сопки красной медью», «отцеженные стенами домов, в квартире звуки уличные гасли».

Ещё:

Здесь кедр – в плечах три сажени косые,

А радуга в тайге свой цвет берёт.

Или:

Выйду всё-таки я за околицу.

Ветер шалый рубашку порвёт...

Или ещё из важного и всегда больного для сердца русского: «тревожный рейс самолёта по имени Русь», или через всю страну вопрос: «где же твоей беды, Россия, корни?».

Вообще, о большой Родине, которую любит «не прикрытую словесной шелухой, не одетую в заморские шелка», у него много – чуть пафосно, но красиво, честно: «полынная Русь», «пахнет сеном священная Русь», «я с Родиной вместе страдал и дышал».

Я в сыновней любви признаюсь,

Разреши, буду скромною тенью

Под твоими знамёнами Русь!

Но в последнее время изменились интонации:

Россия, я тебе дарю своё уменье

Не верить безрассудным болтунам.

Или тревога в сравнениях:

Мне кажется, не кедр, а Россия

Простёрла руки голые свои.

Появились вопросы и сомнения:

И может быть, Россия нам не верит.

Подорвана обломовщиной связь...

А вот ещё:

Но Русь не вырывалась из оков –

Она во власти спящих мужиков.

Или ещё жёстче:

Лишь под хмельную чарку

Россия может жить.

И тут же попытка объяснить:

«Россию разбудили, но не так...»,

«не наша получилась перестройка».

Не принесёт пророк Богатства на ладошке,

Не подсластит наш хлеб

Благоуханный мёд.

На тонкий кошелёк

Не выторгуешь лошадь,

На праздную ладонь
Пятак не упадёт...

И о малой родине у поэта много. Всегда просто, всегда неотделимо от природы и от труда. И то и другое у него любимо, чуть перекликается с есенинским «письмом» («клён опавший стал голой метлой»). Иногда наивные, может быть необдуманно перепевы:

Иди сама собой за полумесяцем,
За горизонтом растворишься, как дым

Или:

Когда-то мы случайно всё же встретимся.
И буду я, как раньше, молодым...

И много у него об отцовском доме, этакое философское, словно некое обобщение, подведение итогов: «Я к дому детства приближаюсь» и «у дома детства ставни настезь, и думы светлые, как день». Но тут же озабоченность («А ты, деревенька моя, неужто навеки уснула?»), «житейское ненастье» – «дом отцовский, сад, огород», «груз житейских неурядиц», «работа, забота, земля», от которых «горят ладони рук», и «вечером вспотевшую рубаху для стирки в дальний угол положу». И как точно, сопричастно к труду, любовно и трепетно:

Дней погожих у нового месяца
Просят в сельских домах косари...

О природе у него всегда с любовью, нежно, бережно и почти всегда присутствует некоторая недосказанность, как-то не дописано, оборвано, словно усталость не даёт додумать, сил не осталось найти точнее рифму, домыслить глубже. Но от этого ещё красивее стих, проникновеннее сравнение: «снег абрикосовый», «тополиные вальсы», «июльская зима», «ромашек лепестковый снег», «атласный костюм зари», «перина земли», «лобастая луна», «летний цвет ромашковых рубашек», «колокольчик красный луны», солнца – «огненный, уставший за день шар моется в ручье серебряной прохладой». Может быть, у него от фамилии тихая потаённая любовь к зиме, к зимнему лесу, к берёзе, что «холодную зимой застуженную кроной среди сердитых нот находит нежный звук». В зимних стихах его слог проявляется всюду зримо, образно:

И солнце в небе – не пожар,
А маленькая свечка.
Дрожит на сопке голый лес
И сгорбились дороги...
К обеду тайга просветлела
В заснеженной нашей стране.
Слышу голос озябших ветров,
Поступь холода возле калитки...
У натопленной печки –
Мелодии лета,

У остывшей печи –
Грусть осенних лесов.

Не перечсть многочисленных сравнений, которыми щедро наполнены стихи: ветер-дирижёр, листья-конфетти, вечер-ряженка, свет-ромашка, серое время-нищий с сумой, туча-чёрный ворон, луна-птица.

Я долго размышлял над его мимолётным признанием:
Но пронзённый грешным притяжением,
Обречён я по земле шагать...

Не понимая о чём это, в догадках рисовал себе всякое, нелепое и вздорное в том числе, а потом, задумав поездку по югу Приморья, решился и... махнул перво-наперво в Арсеньев.

К закату погожего сентябрьского дня, одолев более трёхсот километров, мы с женою были в городе. Чуть задержались у продмага. Рядом в кафе, подкатив на четырёх большущих машинах, гуляла шумная свадьба, мелькали молодые весёлые лица, из распахнутых дверей доносилось что-то резвое, барабанное, зовущее в пляс.

Чуть погодя на маленькой окраинной улочке, развороченной прокладкой водопроводных труб, остановились подле старика, стоящего на обочине. С вопросом: «...как найти...?» – я вылез к нему из машины, глянул в глаза и оторопел. За изрядной бородой его было не узнать. Мы обнялись. И... стали понятны строки его из сборника «Пойми меня, Россия»: «жизнь позади. И мой причал размыт». Он подошёл к черте, «когда теряется надежда, и хмель дороже жизненных потерь», когда «съёжился в копейку белый свет», а «новый день угрюмей стал и строже».

В середине августа не стало его Клары, жены и помощницы, его «маленькой женщины с баяном». О любви к ней у него много написано и всегда по-разному: то чуть потаённое, то открытое, залихватское, то нежное с печалью, грустное, но всегда чистое с «открытым сердцем настезь». После похорон он затосковал, и... понеслась ещё быстрее «быстротечная жизнь». В сумерках захламлённого коридора его разом погрузневшего дома я споткнулся о мешок с бутылками...

Высвечу икону,
Сяду на коня...
Белая ворона –
Про меня...

О себе таким словом простым, как из песни, может говорить человек знающий цену поэтическому слову, человек с чистой лирической душой. Таков Николай Морозов и есть донине – светлые мысли, дерзкий глубокий взгляд, только чуть не ухожен и изрядно бородат.

Если советская система, так или иначе, пусть даже в декларативном порядке, но, тем не менее, ставила в идеологии задачу человеку с помощью общества стать выше, чище, здоровее, добрее, то нынешняя система отношений перевернула всё к противоположному знаку. Сегодня уже не в декларативной форме человеку предложено стать ниже, грязнее, злее, иначе общество, не собирающееся никому помогать, затопчет, уничтожит и т.д.

Ныне идеология изо дня в день напоминает человеку о его скотстве, о его низменных, никогда никем якобы не изменяемых наклонностях. Это испытание гнусностью наш великий народ ещё не одолел.

Мой приезд, казалось, был для него обычным, в былые времена гости здесь случались часто, но явно он был рад, заторопился приветить, засветло показать подворье, огород, похвастать завидным урожаем поздних слив. Потом просидели вдвоём допоздна на маленькой неприбранной кухоньке. Много о чём-то говорили, вспоминали, читали стихи. Он рассказывал о своей комсомольской юности, пару раз наведаясь в соседнюю комнату, присмотреть за девятилетней больной сестрой покойницы жены. Я больше слушал, грустил, и вскоре ушёл в машину, где жена постелила спать. В окне его принахмуренного дома до утра горел свет. В городе у кафе разгулявшаяся свадьба пускала в сиреневое небо фейерверки. «Окраина, но со счастливыми глазами» – это тоже он о себе. И нужно признать, что скверным «окраинным» настроением пропитанное всегда, его творчество сегодня особенно поразительно.

Дом в Арсеньеве – «окраина ничья», «овражный переулок», «натянутая нервами струна», «забытая, живущая за оврагом». И край – «России околоток», «закоулок России неважный». словно притихли они с «верой в жалость» к людям тех, кто сверху с «сивой гривой», и не улыбаются обиженные, без наград, с потаённой завистью к «прославленным»(?), с надеждой выжить в одиночку.

Много сумбура, много лишнего, наспех, взхлёб, как на прощание с каким-то частушечным задором («жаль окраину обходит слава, но это – русская держава»). За январь месяц тринадцатого года сорок пять стихотворений(!). Это какое-то болезненное недержание слов, часто неразбериха, путаница. Но он не боится своего простачества, даже горд им («и хорошо, что я простак...»). Он от земли, из сельского детства, от труда в огороде, заменяющего всю жизнь «любую физзарядку». Наивность, застенчивость, неприязненное чувство зашибленности, уничижительности, чувство непонимания, выраженные недоверчивостью, подозрительностью (в городе «злорадствует застой», «горькие гримасы», незащищённость от любой бытовой проблемы), и тут же гонор, этакое «крестьянское высокомерие» (а у меня печка, и тепло, и все беды моему «земельному дому» не страшны).

И вновь больное – «окраина блёклая»:

Отцовский дом, сарай, гараж,

Да огород – всего шесть соток.

За всё богатство рубль дашь...?

Уйти бы, скрыться «в медвежий угол, если будет в жизни туго». Но всё заканчивается лишь застольем, бурно использованным для чтения стихов... соседу. Может быть оттого, что долго и много работал с неприметными авторами, как-то незаметно и сам опустил планку своего слова.

Приложил чуть-чуть усилий

И нарвал букетик лилий.

А кому его дарить,
Если рвётся жизни нить?

Когда проблемы общества сведены к заботам о размерах гениталий и липосакции, то бишь устранении жира с животов бездельников, то надо полагать, в таком обществе проглядывает незавидный конец, и весь наш социум уже поразил острейший недостаток интеллекта, о чём каждый день невольно преподносят навязчиво и беспардонно СМИ.

Он и сам видит, что «у новой книги нет вдохновения» (Н.Морозов «Скажи мне: Да!» 2013г.). Много слов, неразбериха мыслей, каждый день новое стихотворение, обвалом, стихией, почти неподконтрольно голове, как вода. Путано о себе, намёками о семье, иногда бессвязно, недоработано. И вновь понимание своей окраинности: сравнение с листом, что «упал и в сильном ветре полетал, но дальше поворота в мире не был», «не в середине живу я, а с краю», «замкнутость пространства, как в тюрьме», «в тюрьме у одиночества остался», «день грядущий не зовёт», «теперь тропа ведёт к бутылкам», «и мысли медленней мелькают», «мне б только завтра медленно проснуться...»

Надо признать, в литературе, в той, что остаётся на традициях русского, если не сказать славянского реализма воочию проглядывает облик родины оскорблённой, не понимаемой, кутающейся в ветхое платье, с лицом горестным и почти безмолвным.

Так и живу на тормозе надёжном,
И грудью полной не могу вздохнуть.

Приходят безразличие, безучастие:
Среди ненужных счастьем остановок,
Как спичка, гаснет тяга к высоте.

А все же жить совсем не плохо
Другие пусть тельняшки рвут
Частушки с горя:

Минимальная корзина
Выше пенсии моей

Подошёл вчера к витрине,
А в корзине нет рублей.

Скажем Думе мы спасибо.
Не скудей, Россия-глыба!

Чёрные мысли о безысходности:

Сегодня мне осталось покориться

Призывной стае улетевших птиц...

Седой старик с лопатой, налегке

В туманный день, прихрамывая, вышел.

Пошёл по склону сопки, где кресты

Отца и матери, и бабушки, и деда.

И знают лишь зелёные кусты,

Где будет место нового соседа...

Но из всего сумбура неизменно проглядывает незащищённая оголённая душа, явственна щемящая тайная мысль любого творчества: «Пою и не знаю, зачем я такой», «какой же голос у меня...?». А в ответ, что «понимает лишь бумага», непокорное, этакое потаённым посылом к действию – «но я верю до сих пор в долю лучшую» и «разгул грозы сверкающей мне ближе». Называет себя «счастливым дедом»:

Живи, старик!

Живу и пройденным горжусь!

Но, как и в молодости пытлив и настойчив:

Любое мгновение учу наизусть!

И по-прежнему охвачен порывом:

А мне бы крылья, молча, размахнуть...

Увлечён мечтой:

Мне нынче бы вагон, конечно, скорый,

В котором настезь окна с двух сторон...

И по-прежнему, не смотря ни на какие передрыги в стране, светел и оптимистичен:

И не верю в ненастье. Русь сильна!

...Утром в городе у кафе, вероятно не ложившаяся спать свадьба продолжала вчерашнее веселье. Уезжали мы от Николая Морозова рано, наскоро попрощавшись. Я увозил из его слегка запущенного сада громадный таз тёмно-красных слив, удивительно крупных, с молочным налётом, с ароматом грядущих заморозков. Сзади на сидении улеглась стопка его книг. Сознание было занято бегущей впереди дорогой, на сердце легла потаённая тихая грусть, а на память пришли его стихи:

Не сержусь,

на земле остаюсь.

Поддержи старика,

слышишь, Русь?

Приморье
октябрь 2013г.

Письмо из прошлой жизни

от автора

11 июня 2008г. После скорбной вести о кончине Чингиза Айтматова бросаюсь искать в рукописях письмо, написанное когда-то ему, но так и не отправленное. Утробная застенчивость всегда непонятным образом сдерживает меня при обращении к известным людям. Боязнь получить рану от молчания адресата всегда пугает (письмо Евгению Евтушенко, кстати, пролежавшее также долго прежде, чем случай позволил отдать его лично в руки поэту при встрече в нашем городе, так и осталось без ответа...!), потому и лежат такие письма в пыли и забыты...

Первая попытка отправить письмо писателю.

Уважаемый, Чингиз Торекулович!

В конце концов, осмеливаюсь писать Вам. Хотя, честно сказать, думал пооткровенничать по-поводу Вашей «Плахи» с читателями вообще. Мне человеку рабочему и страшно далёкому от литературного дела вдруг захотелось и самому «влезть» в разговор о романе, затеянный на страницах прессы. Но, подумав изрядно, я опускаю в почтовый ящик это письмо не для редакции (чего уж «вопить в пустыню»...), а лично для Вас.

Думаю, буду правильно понят Вами и прощён за многословие.

С глубочайшим уважением Николай Тертышный.

18 мая 1988г.

Вторая попытка отправить письмо писателю.

...Случаются в суете будней мгновения, когда тронет сердце чьё-то удачно сказанное слово, когда собственные мысли вдруг найдут отражение своё в хорошей своевременной книге, тогда дрогнет неумелая рука, накропает наспех письмо, изольёт малую толику из переполнившейся чаши души, и... отложит стыдливо написанное в стол. Но однажды заест душу новой невысказанностью и поспешит та же сомневающаяся рука отправить письмо это в далёкий путь. И затеплится оно надеждою быть прочитанным, хранимое теплом искры того удачно брошенного слова...

20 январь 1989г.

Н. Тертышный

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ...

...Во-первых, без лишних слов, роман «Плаха» мне понравился. Понравился и всё тут! Иначе как объяснить то чувство, что заставило потом «ковыряться» в подшивках и просматривать почти всю критику на «Плаху»? И чем ещё оправдать желание «залезть» в калашный ряд критиков и самому со своими мыслями о романе? Но, сразу же оговорюсь, меня тронули не литература, не художественная сторона произведения, и, тем не менее, не стоит моё непрофессиональное суждение рассматривать упрощённым образом – хорошая книга, плохая книга. Даже самую некудышнюю книжку не стоит мерить понятиями – «балдел, не балдел». О книгах вообще нужно судить по тому, как написанное в них проникает в твои извилины, как

заставляет восторгаться твою мысль, и не стоит опускаться до гнусных оценок «развлекает, не развлекает».

Айтматов схватил за душу совсем не с намерением развлекать. Ему потребовалось полоснуть этак побольнее, в кровь, до крика, чтобы остановить и заставить сопереживать, задыхаться, пытаться искать причины и боли и крика. Хотел ли этого писатель? Риторический вопрос. Кто из пишущих не вынашивает мысли «царапнуть» читателя под ребром? Это же в писателе святое, это ли судить профессионально и непрофессионально...

Огрехи в филологии, в этимологии и вообще во всех существующих - логиях это дело специалистов, хлеб свой отрабатывающих так или иначе. Им, ох как, важно – есть ли в русской епархии должность координатора или же автор её придумал? (А может быть он просто не так её назвал...? Запомнил что-то и долго искал что-либо похожее, и... очень удачно остановился на координаторе! Зря в православии нет такого сана. А, может быть, он есть... в другой «епархии»?) Для специалистов это точка опоры, с которой он пытается остановить айтматовское самопостижение. А может быть не надо останавливать, не надо искать составные части этого самопостижения в романе. Социальное, морально-этическое, психологическое – вот, сколько оказывается начал у автора. Вот он хотел сказать, да не сказал, вот тут надо бы и помолчать вообще, а вот тут(!) до него уже говорено Фолкнером и даже Булгаковым... (благо Булгакова почитываем ныне!). Может быть, проще было бы поразмышлять в литературных словопрениях о возможности (или невозможности?) говорить о гражданском мужестве писателей? Ан нет! Куда проще разразиться философическими упражнениями насчёт «гнусности чуждого вероучения», да поколотить для острастки давно уже избитую (ещё великими...!) тему «религиозного дурмана»...

А я, тут вот, как не специалист подумал: почему вообще писателю атеисту понадобилось изощряться в мистификациях, прибегать к парадоксальным иносказаниям, говорить какими-то намёками? В литературном ли приёме всё дело? Может быть, нам действительно нежелательно кое-какие истины видеть без прикрас, без таинственности, без умонепостижимости? Не секрет, что многие умники свою незаменимость только и доказывают «тайнописью», в которой де только специалисту что-либо и ведомо. Мудрить над реальностью бытия – стало вообще специальностью советских интеллектуалов. Чингиз Торекулович в этом не исключение. Но..., «я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения...» – вот верно подмеченная черта нашего времени. Но далее неверно. На самом деле время сомнений лишь обостряет и ускоряет поиск истины, и возвеличивает ищущую душу, а не «тешится» над ней. Направленность, даже вернее целенаправленность сомнений в социальном порядке – вот что поистине должно бы занимать писателя, а через него и читателя. Не иссушающие душу сомнения созерцательного богоискательства, нет! Слишком сложно не назвать действия Авдия созерцательностью. Его действия – сон, в них мало жажды действовать,

более желание умозрительно постичь нужное ныне действие. (Это знакомое свойство всей ныне ищущей мысли. Я надеюсь, теоретики знают об этом...). Хотя может быть и важнейшая заслуга художественности романа именно в этих самопостижениях сомневающегося духа. Как знать? Время зачав сомнение – родит истину...

Я не задаюсь целью анализировать действие романа. Думаю, что сам сюжет мало кого тронул. Но тут опять-таки заслуга великая автора – умение овладеть читателем не повествовательностью, не лихо закрученным действием, а более общим над всем этим состоянием озабоченности о несовершенствах человеческого общежития, чувством сопричастности к бедам людским. (То, что бед, оказывается, ещё достаточно в нашем обществе – наконец-то не секрет!). Критиков более всего почему-то занимало обращение автора к такому «скользкому» предмету, как религия. Но, позвольте! Найдите мне хоть что-либо из того что называют «заигрыванием с боженькой». Явно, что писатель пользуется аллегорией, прибегая к религиозной терминологии в диалогах своих героев. Другой вопрос – хотел ли он этого или же это случилось, потому что говорить ныне серьёзно о богоискательстве с большим читателем вряд ли получится. Да и слишком явно перекликаются абстрактно-теистические суждения в романе с такой же абстрактностью современных постановок социально-этических проблем.

«...в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной...» – вот айтматовские откровения, а теологический спор героев – всего лишь способ сказать сегодня об этом читателю. «...в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков», «знаешь ли ты, отчего всё это происходит? В чём кроется причина?», «...что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком...? – это ли вопросы богоискательства? Тогда скажите, какие вопросы сегодня в обществе задаёт социально-нравственная этика? Догматических заскоружностей в политике боится новая мысль, потому и прячется в иносказаниях (и не только у Айтматова...!). Ладно бы только мысль – её можно просто не печатать, а то ведь она... «в мир пошла»! «...ещё больше не любят богоискательства в миру...». (Вот и поплакивают о средних веках: то-то бы костров запалили...).

Понятие бесконечности мироздания, бесконечности движения и изменения в нём ставят вопрос о бесконечности познания, о бесконечности постижений мира человеком, постижения самого себя в идеях. На этом Авдий строит мысль о свойствах развития своего Бога. Этаким своеобразный релятивизм. Что ж..., этот взгляд действительно верен вообще. Но для каждого определённого времени он сужается до рамок конкретных закономерностей, ограничивающих некий период в познании. Здесь надо отдать должное тому, что такой релятивистский взгляд даёт право всякий раз рождаться сомнению в познании. И отбирать это право у сомневающегося значит тащить его на средневековый костёр. И ещё, мне очень близким показался Городецкий с его пониманием того, как «...потом всё было

извращено и приспособлено к определённым интересам определённых сил, ну да это судьба всех вселенских идей». Это сказано героем в таком прагматичном порядке, но это действительно верный ответ на вечный вопрос – почему в мире так, а не иначе. У Айтматова Городецкий – ответ на этот вопрос о существе миропорядка, а вот Авдий – сомневающийся поиск уже...нового порядка вещей.

«Как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но всё это ничего не стоит, ничего не даёт ни уму, ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она определяет исподволь и самочувствие человека, и его отношения к окружающим». (Припомните, Иван Караматов отказывается от высшей гармонии, если только в её основании будет хоть единственная слеза замученного ребёнка...). Но мало того, эта «болевая точка» есть «штука» вечная и неизбывная, ибо категории зла в человеческом общежитии изменяют лишь своё количество, оставаясь неотвратным фактором качества наших отношений. Задумайтесь, менее ли страдает наш современник оттого, что его вежливо выпроводили из кабинета чиновника, чем современник Некрасова оттого, что его высекли на конюшне...? Более того, я уверен, что сегодняшнее благо и порядок наших отношений, причем, иногда завоёванных отношений не далее как завтра будут признаны большим непорядком и вопиющим злом, подлежащим скорейшему устранению...

Здесь я попытаюсь объяснить, почему моё внимание столь привлечено было первой частью романа и, главное, этой его так называемой «богоискательской» стороной. Дело в том, что вероятнее всего читать здесь Айтматова нужно, обладая некоторым знакомством с вопросами и раннего христианства, и христианства вообще, как вероучения и как церкви. Мне кажется, в связи со специфичностью этой области познания эта сторона айтматовского произведения осталась не столько не прочитанной массовым читателем, сколько не совсем понятой до конца. Хотя у меня нет сомнения в том, что искущённого читателя именно этим роман и увлёл. Нужно обязательно вспомнить те аналогии между раннехристианскими общинами и первыми проявлениями рабочего движения, между сектантским воззрением первых христиан и работами первых теоретиков социализма (Заглянем хотя бы в работы Энгельса – «...социализм, в той мере, в какой он был тогда возможен, действительно существовал и даже достиг господства – в лице христианства»). То есть, торжество христианского вероучения для своего времени это почти то же самое, что и торжество нынешнего социализма, шагающего к своему апогею, когда большая и лучше организованная часть землян «обязательно придёт к социализму». Но, однако, есть некоторые основания думать, что так же как и христианство «не осенило» весь мир, так и современный социализм не сможет сделать человечество социально однородным; вероятнее всего в недрах социалистического мировоззрения разовьётся плод новой идеи всеобщего блага, которое будет результатом состоявшихся экономических достижений. Так это или не так, но некоторые сравнения политико-экономических факторов эпохи зарождения христианства, заката рабовладения с сегодняшней ситуацией в мире,

подмеченные историками и мыслителями, дают основание усматривать в этом приличную долю истины. Если из работ по истории тех времён убрать термины – Древний Рим, церковь, христианство – то всё получится о наших временах. Историки, вероятно, ошибаются, пользуясь современными категориями в определении прошлого, но как это ни парадоксально, эта ошибка очень правильно объясняет именно современность, хотя ставилась задача объяснить прошлое. Рассматривая прошлое под углом современного познания, используя современные термины, понятия и дух настоящего историк невольно оставляет рассуждения о себе, о своём времени. Этот удивительный взгляд через прошлое на настоящее позволяет проводить очень точные параллели, хотя, повторюсь, исследователь может быть и в мыслях не держал такой задачи искать аналоги сегодняшнему дню в толще истории...

В «Плахе» мне понравилась сама постановка таких аналогий, не касаясь всего того, что зовётся литературой и искусством слова. Как читателя меня заинтересовала и заставила шевелить извилинами именно постановка вопросов современного бытия. Чтение взбудоражило сознание, «расколело» на части голову, но я благодарен писателю за такое беспокойство. Я сопереживал и сочувствовал с ним, он заставил по-чеховски «выдавить из себя ещё одну каплю раба...». Может быть, я зря здесь сбрасываю со счетов то близкое многим болезненное состояние тщетности собственных потуг, этакую задавленность «маленького человека», которая присутствует в героях «Плахи». Хотя, может быть, именно это проникает в сердце – не вырвешь...!

Конечно же, оставили след конкретные примеры нечеловеческого насилия над природой, которые мы так отвлечённо-космически называем проблемами экологии. Предостережение от неразумного отношения к природе – неотъемлемое свойство айтматовского слова. Любой народ издревле чувствует своё единство с природой, и любые сложности в отношениях с нею обязательно наводят на мысль об экологическом тупике. Есть это в культуре и воззрениях всех народов – в мифах, в сказках, в эпосах. Ныне мы слагаем современный эпос. Как один из искуснейших в этом Айтматов впереди. Надо признаться в том, что говорить об экологии, о тех бедах, сотворённых природе человеком, не хватает слов, перехватывает дыхание в цепенеющей груди, душа вопиет от боли и безысходности. Здесь нужно все силы, всё негодование и тревогу положить в действие, искать спасения в отказе от главенства человека, в умеренности и воздержании. Куда честнее и правильнее будет призывать к самоограничению человека в потреблении, подчёркивая неотвратимую ограниченность возможностей и человека и природы. Мне думается, что писатель именно об этом говорит на страницах «Плахи».

«...Ни один человек не мог отказаться от признания за собой части вины в общем несчастье, и признание это стало теперь предпосылкой духовного спасения, которое одновременно было провозглашено христианством...» – разве эта энгельсова оценка состояния древнего общества не похожа на признание того, что и мы ныне оказались поставлены развитием перед

экологической катастрофой. Не потому ли Чингиз Торекулович приходит к богоискательству, что недостаточно состоятельным оказывается нынешний нравственно-идеологический порядок нашего социума. Время настоятельно ставит вопрос правильного постижения состоявшейся формации социализма, вопрос не притяжения желаемого за действительное, а методичного анализа объективных свершений в мире. Разве не это тяготение можно наблюдать ныне в работах идеологов и политиков? Разве не это стремление врывается в искусство, в литературу, во все формы общественного познания?

...Я внимательно интересуюсь, так сказать, «усреднённым» Бостоном. Так интересуюсь, как можно иногда вдруг вглядываться на себя... в зеркало. Может быть, зеркало и привирает самую малость, но всё упорнее нахожу черты в том зазеркалье, что каким-то образом роднят меня с фигурой «среднего труженика». Я не знаю, собирался ли писатель отыскать какую-то силу, способную как-то завершить цельность мира созданного в романе, или же наоборот он ищет первопричину трагедии, завязанной ещё в начале повествования. Я понимаю, что образом Бостона писатель напоминает мне, как читателю, что исход трагедии обязательно самым своим ужасным проявлением коснётся именно меня. Неразрывная цепь социальных уз потянет за собою всех...

Наверное, немаловажное, что напрашивается быть сказанным по-поводу романа это мысль о тех очень осторожных штрихах «исконно противостоящей силы». Если очень внимательно прглядеться к Бостону (как к почти положительному герою) то портрет его, мне думается, совсем не завершён. Я не могу знать причин таковой незавершённости героя. Может быть потому, что писатель слишком рано приводит нас к развязке, не оставив времени на раскрытие характера своего героя, может быть что-то действительно оправдывает такую торопливость...? Наше время летит и не оставляет места раздумьям. А может быть, это уже моё собственное любопытство пытается домыслить то, что писатель оставил для будущего романа? Но пусть простит он моё неосторожное посягательство на таинство писательства...

Здесь я заглядываю в «Литературную газету» от 20.01.88г. и нахожу «Зону молчания» Владимира Соколова, в страстной строке которого вижу вдруг завершение айтматовского Бостона. Это же...Адылов из Гурумсарая! Те силы, которые питают Адылова – вот очень интересный аспект того самого вопроса «исконно противостоящей силы, ...которая в каждом человеческом деле охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы». Я, конечно же, допускаю некоторую натяжку затронутой темы, но да простится сие, поскольку велика цена той истины, что открыта будет посредством разрешения этого вопроса. Да простится мне здесь излишняя витееватость – таков уж человек, пред силой поникший. Прямо и просто об этой силе он говорит лишь, когда мистицизм её ею же самой и дискредитирован. Но попытка – не пытка...

Мне опять понадобится Отец Координатор из самого начала «Плахи». Наверное, корни моей витееватости и причины несуществующего чина в

епархии нужно искать в одном и том же месте. Может быть этот самый Координатор – это намеренная витиеватость Айтматова...? И ещё: «...соображение о престиже страны...»! Вот! Надо немедленно признать, что эти «соображения» тянутся ещё из... Древнего Рима. Разве не так же звучит: «оскорбление величия римского народа»...? Неосторожное слово, малейшее недовольство, негодная острога, недостаток лести, равно как и излишек её – всё это считается преступлением, если руководствоваться «соображением о престиже страны» или... Церкви, как это делает Координатор. И он сила! Та... самая...! (Далеко ли мы ушли в этом от Рима...?) а надо бы давно отыскать причину тех явлений, в которых эта самая сила, руководствуясь «соображением...», пресекает малейшее поползновение на собственную «святость» и она же плодит застой Адылова. И одного ли его...? Что это? У Айтматова короткий правильный ответ: «соблюдает собственные интересы». Вот оно! Это самоцель этой самой силы. Или наш предрассудок? А может быть то и другое вместе взятое? Нужно всегда искать правильную терминологию, когда заходит разговор об этой силе. И в разговоре тотчас возникает множество других (почти всегда ненужных!) слов, лишь потому, что в определениях этой силы всегда необходимо одно мудрёное, я бы сказал – очень мудрёное слово – государство. Уф! (Я-то знаю, как сейчас читатель оогкнул невольно, а главное насторожился – эк, куда тебя понесло шелкопёр...) Да, да – государство! Но беда в том, что словом сим в нашем могучем языке мы обозначили одинаковым звучанием два совершенно различных понятия. Удивительнейшим стечением времени и законов словообразования термин государство стало знаком равенства меж тем, что всегда свято для сердца каждого, что пишем с заглавной буквы – Родина и тем, что во все времена презренно у народа зовётся чиновничеством. Здесь я отошлю тебя, мой славный читатель, к одному из номеров «Журналиста» за 1987 год к рубрике «Есть такое мнение» (этак осторожно...). В статье Андрея Щербакова «Мы знаем силу слов» очень правильно акцентирована необходимость убрать знак равенства между Родиной и государством. «Формальную основу этой путаницы можно отыскать в словарях: «Государство – политическая организация общества во главе с правительством..., а также страна с той же политической организацией. Страна... то же государство, Родина, Отечество, родная страна. Вот и цепочка: государство – а также страна, Родина. В такой цепочке и родная страна и родное государство – одно и то же. Но только в такой цепочке». Я позволю себе ограничиться приведённым текстом и напомнить о том, что об этой щекотливой теме намёками да загадками первыми заговорили люди, как говорится, не принадлежащие к специалистам в этой области, и наоборот те, кто профессионально должен был бы заниматься вопросами теории государства, либо помалкивают либо несут несусветную околесицу. Молчат, наверно, потому, что мистицизм гигантского чиновничьего аппарата закупорил все ходы-выходы теоретических изысканий. Казалось бы, чего проще – перепечатавай марксову теорию государства, и тем самым отвечай на все вопросы современных перепетий общественного движения. Но

«мистическая сущность гражданского общества», и сегодня не прекращает упражняться в метаморфозах. Закупорив все поры общественных отношений, оно оставляет обществу лишь право дышать чадом собственных испражнений. И это в первую очередь должно быть замечено писателями, актёрами, поэтами, то есть средой хранящей, так или иначе, общественную совесть. И нужно признать, что и совесть есть, и среда, сберегающая её, тоже есть. Не могло не быть, ибо чудовищно напрасны были бы жертвы народа в предыдущие времена.

Но так случается, что то много приобретённое народом почему-то становится достоянием отдельных личностей, на худой конец отдельных кланов, которые «темнеют» с годами, а драка за справедливость превращается в войну «правдолюбцев» в «кровавую, жуткую бойню», но происходящую уже над народом, с его молчаливого согласия или непонимания. И, главное, самим «правдолюбцам» уже не хочется смешиваться с народом – История становится достоянием и деянием вождей и проходимцев, государственных великомучеников и стяжателей, кормчих и узурпаторов, комиссаров полиции и изворотливых уголовников. А где народ...? Словно бы уже истории самого народа уже нет.

...Россия, может быть, является ярчайшим примером социальных движений общества от абсолюта монархического деспотизма к формам социалистической демократии. И, главное, пример этот в движении и ныне, история его вершится и сегодня. Часто возникает вопрос: могла ли общность людей, придавленная царизмом, пронизанная духом монаршим, запросто посредством революций, пусть даже самых радикальных, самых ленинских, выскочить из хламиды самодержавия и разом обрядиться в одежды самоуправления. Конечно же, нет. Слишком инертен общественный механизм, слишком велики традиции и устои. Россия обязательно должна была пройти эпоху вождизма, прежде чем общественное сознание выбросит предрассудок «хорошего царя», вынашиваемого ещё со времён централизации монаршей власти на Руси. Начало двадцатого века принесло в Россию зёрна идейного раскрепощения, занесло в общественную мысль вирус социального переустройства, но удалось ли вырвать традиционное мышление простого люда относительно единоначалия, вот здесь большой вопрос. Монотеизм в мировоззрении, монархия в политике, в экономике, в производстве, в быту – это не исчезает так просто из общественного сознания. Это традиционно живуче, может быть в большей мере благодаря этому и жив народ, какими бы консервирующими не казались эти факторы общественного состояния. Вождизм в этих условиях неотвратим. Питает надежду лишь то, что общество всё более и более уясняет мысль: «Боги приходят и уходят, а мы остаёмся...». Предрассудок в богоизбранность, в величие царей, вождей, лидеров всё более и более утрачивает силу свою в общественном сознании. По достоинству на это место должна прийти сила

коллегиального мышления. По крайней мере, так должно быть с возрастанием сближения государств и народов, с уменьшением угрозы войн и экономических катаклизмов...

Вот так сумбурно и ужасно отвлечённо заканчиваю свои плохо организованные мысли по поводу романа «Плаха» Чингиза Айтматова, прочитанного мною в мае месяце одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года...

А мы и не ждали вас

Я Вам пишу...

или

(А мы и не ждали вас...)

Дар поэтического восприятия Мира, вообще каких-то значительных либо совершенно малозначащих явлений, окружающих нас или свершающихся в наших помыслах, - это многообразное, плохо поддающееся определению, многогранное состояние человеческой души. Поэтический восторг приходит и к столяру, увлечённому своей интересной задумкой, и к повару на жаркой продымлённой кухне.

В начале семидесятых теперь уже прошлого века в порту у нас был грузчик дядя Вася из старшего поколения, прошедшего войну. (Я сегодня чрезвычайно сожалею, что совершенно не помню его отчества и фамилии). Грузчиков тогда только-только пробовали называть докерами, отчего их работа не становилась легче и поэтичнее. Я видел, как работал этот докер на цементе, когда пятидесятикилограммовый мешок нужно сначала брать с верхнего ряда на плечо и выносить из вагона на поддон, а потом, когда полка мешков в вагоне становится всё ниже и ниже, каждый мешок нужно было брать на согнутые руки и нести перед собой. А сколько сил и сноровки уже требовалось, чтобы поднимать мешки с пола в вагоне и так же выносить на руках...? Так вот, дядя Вася, соревнуясь с молодыми, казалось, был одержим этим нелёгким трудом, словно что-то включалось в его, в общем-то, не атлетической фигуре, и он словно летал из вагона к растущей горке мешков на поддоне. Никто не мог устоять с ним в этой работе, именно на цементных мешках. С другим грузом у него так здорово не получалось. А здесь валились с ног самые здоровые и сильные, а дядя Василий, кажется, даже не потел. Хотя грузчики знали, чего это ему стоило. (Я случаем подглядел после одного из таких соревнований – руки до локтей и бицепсы у грузчика были в сплошных кровоподтёках...). В нём, я так думаю, в тот миг просыпалось чувство поэтического восторга, приносящее и задор, и силы. Когда-то он почувствовал этот восторг, что-то подсказало ему, как лучше и проворнее грузить мешки. Тогда к нему пришло умение, и он сообразил, как управлять

этим умением. Он почувствовал свой талант, как говорят. Так приходит искусство, и совсем не имеет значения, в чём оно выражается – в ваянии скульптур или в работе каменотёса.

Всё это я говорю к тому, что искусство словом восторгаться, удивлять и увлекать этим других есть лишь одно из признанных проявлений чувства поэтического. Талантов много, а чувство восторга, приходящее иногда к талантам, как пик усилий, как вознаграждение за эти усилия – всегда едино. Потому-то так понимают друг друга талантливый поэт и талантливый столяр или золотых дел мастер.... В поэзии (теперь я говорю только об искусстве слова) этот восторг более может быть выражен, так сказать, более популярен, поскольку его более замечают и отмечают. Это уже так складываются людские отношения, но значимость «поэтов» в обычных ремёслах от этого ни сколько не становится меньшей. Мало того, и в самой поэзии, складывающейся из многоголосия и самобытности многих и многих, увлечённых словом, звуком, песней, не должно быть какой-либо распри. Как в тенистой роще под пологом благоухающего леса мы бываем очарованы пением птиц, всех без исключения, хотя одних слушаем с удовольствием, а других лишь замечаем за их писк или скрипучее дребезжанье. Мы слушаем и понимаем, что все поют своими голосами, что Бог дал. Голоса разные – песнь одна. И глупо было бы представлять, как сорокопуд или сойка учит соловья петь. Так же нелепо будет видеть того же сорокопуда, пробующего себя на роль соловья...

Но то в лесу...! А посмотрите, что делают люди – как пытаются поучать и порицать друг друга...! (я, конечно же, не имею в виду настоящую объективную и конструктивную, говоря казённым языком, критику). Посмотрите, как один, несомненно, талантливый (только вот он и сам еще не сообразил в чём...) бросает окружающим оскорбления только ради того, чтобы и его замечали. Либо, козыряя невесть каким образованием, совершенно безапелляционно пытается разбирать письма и строки, беззащитно открывшихся для редакции незнакомых людей, тем самым, объявляя себя судьёй в последней инстанции, после которого любое вдохновение скукоживается и гибнет безвозвратно от язвительной желчи и умничанья самозваного суда. А окружающие тут же бросаются поливать словами его и друг дружку, не понимая того, что так же недалеко в поступках.

Мне нравятся сотрудники газет и издательств либо просто отмалчивающиеся, либо отвечающие на письма начинающих литераторов примерно так: - «Ваши опыты камерны по звучанию, вторичны по мысли, а наша редакция ориентируется на произведения большего масштаба...». Таких понимаешь и, нужно сказать, принимаешь. Они, по крайней мере, как бы оставляют надежду на то, что вы ещё не совсем потеряны. Другие же долго и чрезвычайно умно ищут в ваших опытах ошибки и несуразицы, настойчиво и упорно учат вас грамматике и азам сочинительства, приводя примеры из классиков и из... «собственного творчества». И если бы не это последнее, может быть, их назидание было бы вполне приемлемо. А людям,

пробующим писать на публику и рассылающим свои опыты по редакциям, можно посоветовать искать какие-то специальные издания, где только-только образовалось издательство, либо действительно ждут любые работы, специализируясь только на них. Состоявшиеся же издания всегда загружены работой, всегда укомплектованы нужным числом талантов, и просто умеющих хорошо писать. Такие корпоративно сложившиеся образования с трудом воспринимают что-то извне, и прошибить доступ к ним можно лишь, используя сложившуюся схему рекомендаций и протекций, и, конечно же, несомненным, уже замеченным, сформировавшимся талантом, да и то не во всех случаях. Во всём этом есть свой резон и один положительный момент – происходит жёсткий необходимый качественный отбор, что в литературной деятельности так важно и что никаким другим образом невозможно осуществить.

Потому так много поучающих... Может быть, и в лесу птицы так же не приемлют чужих песен и поучают друг дружку...? Я не знаю. Только, думаю, людям нужно быть более осмотрительными в отношениях друг к другу.

Один знакомый атлет, силач, (вот такие «булки» там, где у всех просто плечи!) увидел, как я делаю утром зарядку:

- Слушай, ты этим давно занимаешься?

- Давно.

- И регулярно?

- Ну..., по мере возможности.

- Да, ты, просто гигант...!

И потом, присмотревшись к моим упражнениям с гирькой, просто заинтересованно спросил:

- Как, как ты вот это... делаешь?

И меня сразила не это его наивное детское желание поучиться у ...меня. Я поразился тому, что он не стал, как обычно в этих случаях, в менторскую позу и этак свысока не плюнул сквозь зубы: «дохляк, неуч, бездарь...» (или как там в этих случаях брезгливо говорят о «непрофессионализме»?). И ещё, не кинулся поучать. Он каким-то образом понимал, что я другой, что он может своё, а вот то, что умеет другой просто надо уважать. Я не знаю, где он этому научился. Подумалось: смотри-ка груды мышц, в общем-то..., а какой умница! Он сразу увидел, что я никогда не смогу делать то, что по силам ему, а сам он не сможет походить на меня. Мало того, он показал своим видом, что позавидовал мне: для меня зарядка - естественное состояние, удовольствие, а его профессиональные занятия культуризмом - насилия над собой, излишества.

Размышляю над обидами, что одолевают авторов, получающих из редакции не всегда лестные отзывы о своих литературных опытах. И понимаю какую-то нелепость в отношениях между автором и тем, кто отзывается на рукопись. В редакциях, я думаю, отчасти призвано, отчасти намерено защищают интересы цеха, корпорации. Иногда это действительно правомочно принимает форму защиты языка, литературы, искусства. Вот

только сомнительно положение защитников. Отваживающихся братья за оценку, присылаемых в редакцию рукописей, по-доброму нужно понимать. Ведь, я полагаю, пишут не только подстёгиваемые тщеславием или безудержными фантазиями насчёт собственной талантливости и значимости. Да и при многообразии уровней получаемых писем, вероятно, очень сложно оставаться незыблемым в своих принципах. Истинно вникающий в присылаемую «тарабарщину», надо полагать, всегда сам в сомнении. В противном случае нужно иметь безукоризненный талант такта и этакой округлённости, чтобы ненароком не зацепить и не поранить чем-то острым в своей индивидуальности того, кто хоть на миг, но оголяется в доверчивости, обращаясь в редакцию. В этом автор и рецензент совершенно не равны. Первый беззащитен, а второй знает об этом. И ещё не известно, что более делает человека слабым и ошибающимся. В недавнем разговоре на телевидении один из уважаемых литераторов, как мне показалось, высокопарно сказал о том, что пишет ради людей. Но, чуть подумав, я согласился с ним. Тщеславный изначальный позыв в человеке, в конце концов, выливается в простейшее чистое желание быть нужным себе, своим близким, и, конечно же, людям вообще. В редакцию человек пишет не ради оценки того, что он постиг или познал. Думаю, человек, даже слегка задумывающийся над жизнью, понимает в целом свои способности, свой уровень знания и умения. Поэтому авторы почти всегда в обращениях ищут свою нужность, свою востребованность. Так устроены люди. Из этого субъективного чувства, в конце концов, складывается людская общность, взаимопонимание, или более того, если хотите, братство.... Быть нужным кому-то, ещё лучше, многим - это в человеке от природы. Именно это поднимает многих к подвигу, на самоотверженность, на литературные потуги, поскольку в России (и не только...) эта область деятельности всегда была служением на благо многих. Автор, посылающий свой опус в редакцию, ждёт большего, чем исправление школьных ошибок. Так или иначе, он и сам знает или, по крайней мере, догадывается об этих ошибках.

Автору необходимо понимание его сомнений, подсказка места его нужности и полезности в обществе. И вот здесь он, как младенец, наивен и беззащитен. Он, нашедший, но сомневающийся, ищет поддержку такого же сомневающегося. Разница между ними только в количестве найденного. Это может быть, как у Толстого громадная «Война и мир», или как у Гаршина маленькая «Лягушка-путешественница». Но сомневаются и ищут до последнего и тот, и другой, сваливаясь, в конце концов, в горячке один бродягой на железнодорожном вокзале, а другой в психушке. Но и тот и другой равно дороги и нужны людям до сих пор. И кто отважится ныне оценивать их промахи, ошибки, величину и значимость...?

Для газеты «Элегия»
Янв.2003.

Не случайные встречи

Не «случайные встречи»...
(о прозе Ю. Меринова)

В конце 2002года Владивостокским издательством «Русский остров» в свет была выпущена новая, пятая по счёту, но не по объёму и значимости, книга нашего земляка Юрия Меринова. Это роман с серьёзным названием, обещающим непростую тему – «Простите нас люди». Вообще нужно сказать, все книги в мире условно можно разделить по категориям. Одни могут быть подобны закрытому собранию, где о происходящих действиях можно только догадываться, где явная клановость диктует жанр и события. Это книги для узкого посвящённого круга читателей. Есть книги похожие на административные, помпезные и многозначачие здания с множеством кабинетов, в большей мере ненужных и бесполезных. Такое наверно можно сказать об учебной литературе, о специальных справочниках, энциклопедиях и ещё о многих книгах из ряда так называемой специальной литературы. Есть, конечно же, ещё книги – парткомы с дутой многозначительностью и вычурной правотой. И есть книги – церкви, куда не все ходят, но почти все понимают важность благого дела их. Такие книги если читают, то потом перечитывают всю жизнь. Таких произведений мало. А есть книги большие, умные и важные своей философской великозначимостью. Их читают специально и только один раз для дела, как говорят. И тут же книга может быть каким-то клубом, или в более широком смысле – домом для каких-то кружков, подобно домам культуры или киноконцертным центрам. А может быть и маленьким баром, забегаловкой закусочной, развлекательным варьете, со всеми вытекающими отсюда направлениями в повествовании. Таких книг много, они так пестрят многообразием обложек и, конечно же, разноплановостью беллетристики. И тут нет особой нужды ругать это или наоборот восторгаться. Это нужно просто принимать. Это чтиво так сказать для всех. Его и читают все понемногу, на бегу, второпях, часто для того лишь, чтобы, как говорится, «накормить» глаза.

Роман Юрия Меринова не из последнего ряда. Его книга – в большей степени откровение, социально-психологическая драма, круто приправленная детективом. Это какой-то своеобразный анализ прожитого, прочувствованного, пропущенного сквозь обострённое понимание блага и справедливости, анализ, проникнутый страстным желанием разобраться в сегодняшнем непростом мире. «Весьма закрученный сюжет», как сказано в небольшой аннотации к роману, стиснут, надо понимать, из соображений экономии в 340 страниц мелкого шрифта. Чёрно-белая чётко располовиненная жёсткая глянцевая обложка, притягивающая взгляд неслучайным изломом строки названия, обрамляющего опять-таки неслучайный и зловещий партийно-номенклатурный фас, какой-то

могильной, но по-прежнему вседержашей персоны. Язык повествования своеобразен, часто режет слух так называемой ненормативной лексикой (неоправданная дань сегодняшней моде у писателей). Тяжёлый и конструктивно индивидуальный взгляд на жизнь, против которого можно протестовать, но с которым совершенно невозможно не согласиться. Жёстко обострённая правда жизни (такая правда, что зло берёт) в романе давит намеренно и откровенно прямою и недвусмысленностью, потрясает, царапает до боли, до «крови». Часто это похожее на исповедь без покаяния, одержимой мстью и обидами. Нелитературной прямолинейности хоть отбавляй. Книга приятно внушительна в руках и рассчитана на читателя думающего, как говорят, серьёзного. Будут ли перечитывать роман Юрия Меринова? Вопрос оставим для лучших будущих времён, а сегодня нужно прочесть эту книгу и отдать должное писателю, плодотворно работающему в копилку нашей Приморской литературы.

Последняя книга Юрия Меринова легла на мой читательский стол сразу же по выходе из печати в начале 2004 года. Поскольку все предыдущие его книги были упорно постигнуты мной, то и эту, памятуя свой опыт, я упрямо осилил.

Как бы там ни было, любую книгу начинаешь читать с обложки. Символисты говорят, что в любой случайной загогулине может быть скрыт смысл, потому не случайно книжные обложки тщательно прорабатываются, прежде чем появиться вещным обрамлением повестей и романов среди множества изданий. Тяжёлая и холодная на ощупь глянцевая сине-белая «Белая ложь» (название одной из повестей объединило всю книгу) беглым взглядом видится серой, а грустная зимняя рощица на лицевой стороне кажется излишне бледной. Вглядевшись пристальнее, понимаешь искусственность зимы – это художник снегативил фото, чтобы придать деревьям полупрозрачный вид. Может быть поэтому «лицо» обложки как-то видится поначалу «задом». Первое, что делаешь – переворачиваешь книгу, желая почему-то увидеть что-то другое и именно то, что должно показаться «лицом». Но находишь сзади «зад» и несколько разочаровано возвращаешься к морозной рощице на синем фоне. Есть в ней какая-то законченность, словно не предваряющая книгу, а наоборот заканчивающая. И надпись внизу, и затенённое несколько имя автора вверху выглядят каким-то искусным ограничением, завершением. Заснеженная рощица не показывается из белого проёма на обложке, а словно уходит в светлый четырёхугольник, который вот-вот сузится до малой щели, а потом и совсем закроется...

Сразу же признаю, что писать Меринов стал лучше. Появилась в его манере какая-то раскрепощённость. Слова и предложения не цепляются друг за друга, а как-то катаются меж собой. Это или я вчитался, или к автору на самом деле приходит мастерство, профессионализм. Думаю, тут и то и другое, но прогресс в письме налицо. Примером тому может быть зарисовка зимнего леса в одной из повестей. Таких чистых и чудных картинок у него в предыдущих книгах я не встречал.

Вообще, признаюсь, что, зная автора, как бывшего первого секретаря горкома партии, читаю его тугочитабельные вещи предвзято, зачастую с единственной целью найти в его творчестве некоторые из ответов на вопросы, что ставит нам жизнь сегодня, что ставила, может быть, ещё в той... советской жизни. И не нахожу.... Автор знает жизнь лучше это факт, моё читательское воображение часто восхищено таким знанием. Но вот решение общественных задач для него всегда проблематично. Потому так безжалостно был отстранён жизнью в сторону тогда... в девяностые, потому сегодня для него трудны новые проблемы. Его герои часто жестоки, стереотипны, как-то малочеловечны. Ни к одному не лежит душа, ни в одного нет веры. Автор не любит ни одного из своих героев не из прошлого, не из настоящего. А ведь когда-то жизнь поставила его самого у властного кормила, доверив судьбы тысяч людей. Это беда последнего возвысившегося поколения партийцев – холодно знать жизнь, видеть её грядущий слом и не находить в ней пути к добру. Какая великая трагедийность в этом – понимать драматичность ситуации, вбирать это сердцем, страдать, но не уметь выходить к благу. Книги Юрия Меринова – способ каким-то образом чуточку ослабить это страдание. И он сам это понимает в первую очередь...

Первая повесть «Случайные встречи» в сравнении с предыдущей книгой «Простите нас люди» читается легче, хотя не лежит к моему читательскому нутру протокольный и нелитературный язык повести. Так можно наверно сегодня говорить, хотя с большой долей невероятности, наверно, и писать сегодня можно на таком языке, но это язык не литературы, это почти «феня». Однако нужно признать за автором некоторый прорыв просто к человеку, к его душевным перипетиям. Это как-то заставляет понимать неплохие авторские опыты в описании цветов лотоса, чувств любовного плана, но «феня» перебивает всё. Так отвратительно и сложно разговаривать и думать все сто процентов своего времени нормальный человек не может. Иногда он всё-таки просто по-человечески... думает и разговаривает.

Повесть «Звонки из преисподней» неплохо увлекает, но опять язык...! Что это – писатель пошёл на поводу у «блатных» или бравирует тем, что и сам в этом смысле «не лыком шит»...? Всё остроумие автора вложено в нечеловеческую речь. Так «ботать» в жизни не могут даже в самой опустошённой и люмпенизированной среде. Подкупает лишь то, как автор наделяет своего отрицательного героя трезвой вполне человеческой мыслью о простых людях.

И «Белая ложь» так начинена излишествами и бравадой в языковых непотребствах, что сложно воспринимать повесть обычным неизощрённым сознанием. Автор словно бравирует знанием сленга, не более того. Но это нисколько не сближает его с рабочим человеком, наоборот отдаляет, и знание людей превращаются в фикцию, в дутую наигранность. Перегруз приключениями главного героя делает повесть нудной. Получается, что написано для массы, для толщины книги. История избитая, чернушная, накручена, может быть, чтобы вызвать читателя на жалость...

«Когда зацветает кактус» - уже само начало повести подтверждает, что Меринов писатель работающий над собой. Вот чуть из повествования ушла «феня», появился герой со знаком плюс, ожила на страницах природа, какой-то новый заряд склоняет героев к добру. Это обнадеживает.... Но довольно частый приём перехода к повествованию от первого лица опять пестрит лексикой, так сказать, ненормативного порядка. Как только автор обращается к мыслям героя, повесть сразу скатывается на «базар»: «...гонять балду, бардак, здорово нагрели, начнут вякать, бабки, смотаться за бугор, перекантоваться...» и т.д. Вероятно это всё на потребу времени и нелепо «американизованному» читателю...? Это, надо признать, живёт в нас наив и желание объяснить настоящее время через себя. Тут же неоправданно много «казённого» языка: «...была бы невозможна такая многообещающая научная проработка, которая по своим потенциальным возможностям претендовала на докторскую...». Часто ловлю и себя на вот такой казёнщине. Это время в нас одно и то же говорит, детство одно или обязательно похожее. Это поколение наше ставит одни и те же вопросы в одном и том же времени. И ответов на них мы не знаем, точно так же, как и упорствуем в излишнем умничанье и ложном всезнании. Заканчивается повесть этаким хеппиэндом только на старый советский лад, вопреки заокеанским веяниям, – система всё-таки сильнее всех индивидуумов и бандформирований вместе взятых... «День серебряной юности» - замечательная задумка написать простого чистого человека, приподнять его до уровня гражданина. И сделать это нужно таким языком(!) чтобы сердце захватывало. «Глаголом жечь» нужно. Это нужно как стихи сложить, как песню спеть.... В какой-то мере это писателю удаётся. Размышления о жизни, о её смысле близки читателю, тем более что и в этой повести всё заканчивается хэппиэндом. Это хорошо, что и в сегодняшних сложностях безжалостного мира есть люди, подобно автору «Белой лжи», продолжающие много и настойчиво мыслить и приходить к хорошему концу. Эх, во благо бы ещё эти помыслы...

Н. Тертышный.
Приморский край.
2005г.

Что значит жить? Никто не знает...

К годовщине памяти поэта Евгения Лебкова.
Николай Тертышный.

«Что значит – жить?
Никто не знает...»

Четырнадцатое января. Старый Новый год – чудное и в то же самое время странное сочетание понятий. Впрочем, на Руси всегда вдоволь странностей и странников.

...Тем утром едем впятером в Углекаменск. Мелькает за окнами авто январская картинка нашей прошлогодней приличной студёной зимы. В долине лежит снег. По окоёму в болотцах треплет ветер метёлки высокого рыжего ковыля, вдали любо глазу серебрятся под солнцем белые зигзаги вершин. О чём-то говорим попусту. Кручу привычно баранку, а под сердцем боль, и в голове звень-звень мысль тяжкая, ещё до конца не осознанная:

- «Старина Лебков скончался..., прощаться едем...».

«...Вон, над сопкой редколесной,
Засиял в цвету багул,
Словно это Царь Небесный
Дивной кисточкой мазнул.
Подходи. Смотри. Любуйся.
Цветочечку сорви.
Прошепчи: «Прости, Иисусе...»,
И от счастья зареви...»

В его биографии так много того, что зовётся одним коротким – Русь. Смоленск, Брянск, орловщина, Рославль, Нечаево, Калуга, Рогнедино.... Это его корни, его начало, пронесённое затем сквозь всю жизнь с достоинством, с гордостью должной, красивой, и вложенное в столь же гордое и восторженное его Слово, что как «и Солнце – из Божьего теста...». Такое случается часто – человека почти не знаешь, если не считать давней встречи на поэтическом вечере, двух-трёх реплик, крепкого рукопожатия, но после знакомства с его творчеством приходит чувство какого-то внутреннего родства, и пронизывает трепетно суть твою, и ничего не поделаешь с этим ощущением, и всё лелеешь надежду на оказию, на случай новой более удачной встречи.... Но безжалостное время вмиг обрывает всё, и надежду, и возможности, воздействуя лишь с ещё большей силой, оставленным его чистым «самосудным» Словом.

«...Чужая долюшка – без краю,
Своя – лишь только от и до.
К чужой хвалёнке прилепляю,
Свою – не ставлю ни во что.
Чужое дерево – с листвою,
Своё – живёт и не живёт.
Чужой родник – с живой водою,
Свой – затхлой глиной отдаёт...»

Никогда не бывал там... в центре, как говорят, в России. И уж наверно не побываю. И сужу о ней часто, может быть, по наиву и неверно лишь по образам вот такого лебковского толка:

«...Повсюду – суета «вождей»,
Торги души и тела.
И я кричу душе своей:

«Ты этого ль хотела?»...

И тут же признание собственной причастности к тому, словно виновности своей: «Пока душа моя спала, случилось рядом столько зла...». В своих чудо-рассказах он поднимается Словом от каких-то незамысловатых повествований с шуточками, с прибаутками к каким-то мистическим заговорам, почти к молитвам. И поэтическое восприятие жизни, лирический настрой и чутьё он сохраняет до самого конца. Одни лишь названия последних его книг говорят о многом: «А что мне делать в России», «Несуета», «Откровения отшельника». В них он, как всегда серьёзно и объёмно, не отрывая себя от действительности, ставит задачу жить:

«И всё же, братцы, исполать,
Тому, что Господом ниспослано.
Давайте будем ткать и ткать,
А не дремать над кроснами...»

Не из этой ли славянской оптимистичности черпает он подзабытые давно слова – орясина, рядёнце, и плодит свои «словотворения»: редкоход, цветочечка, разноцвет-трава, лесоход, буйноцветение. А сколько новых «политических терминов»: телесмута, коммуносатаньё, волкомания, задироноситься, пригородиться, законоазбука, мракостыльность, смиреновозрождение, жратвопьянка и т.п.

У него наверно можно было бы многому поучиться, но из всего мне бы хотелось постичь корни его простоты. Не той, что «хуже воровства», а той чистой наивной простоты и открытости, что по какому-то страшно непостижимому стечению обстоятельств разбавляется с возрастом необъяснимым, но неизбежным юродством, в лучшем понимании этого явления, дающим возможность сказать слово своё всем в глаза, не лицемеря и не стесняясь. И это его признание «...Я полюбил одиночество...» вырывается грустью, сожалением из простых незамысловатых строк предвидения скорого ухода:

«От суеты бесплодно-зряшной
Уходим скоро в никуда...
Сгорел закатом день вчерашний И не вернётся никогда...»

На панихиду в ДК Углекаменска поспели только-только, неловко наскоро сложив к ногам покойного скромный цвет хризантем. Простились так же скупое, помолчав под тихую незамысловатую речь тех, кто был ближе знаком поэту в его последнее время. И после того, как тело увезли отпевать в Партизанскую церковь, так же скоро заторопились домой. Я ругал себя за то, что не смог подмениться на работе и отпросился лишь на пару часов. Вот так всю жизнь: работа, спешка, долг, обязанность и опять работа...

«...Почему не дано лишь добро излучать,
Жить, и жизнью дышать словно воздухом...?»
«Что значит – жить?
Никто не знает...»

Обратной дорогой больше молчали. За деревней Казанкой на большом красивом мосту через реку Партизанскую я сбросил газ и чуть помедлил. И

вверх, и вниз по реке во всю ширину, охватив розовыми разводами берега островов, на снежном фоне в лучах яркого солнца полыхали заросли чозении, блистала холодным серебром на незамёрзших перекатах вода, и тихая благодать разливалась вокруг по долине, порождая в душе веру в «закон всемирного родства». Но тут же «...расплёскивая вёдра смысла» подкатывала с болью под ложечкой потаённая тревога:

«Всё от природы, а точнее от Бога...

И что там гул и гомон городов...?

И всё-таки какая-то тревога

В листве осин...»

...Жизнь у человека состоит из событий, случаев, происшествий, драм и фарса, из поступков и устремлений, словом из всего этого многообразия, как из отдельных узоров и чёрточек состоит ковёр или картина, как из историй и рассказов складывается книга. И так же, как картина или книга, жизнь может быть цельной, объёмной, насыщенной красками, умело собранной из рисунков и набросков в единое полотно или повествование. Отличие состоит лишь в том, что жизнь... всегда – недописанная книга, незавершённое полотно...

декабрь 2005г.

г. Находка

навсегда двусмысленная грусть

«...навсегда двусмысленная грусть»

или несколько строк в память о поэте...

- Ну и как я там смотрюсь? –

Я спросил у рентгенолога.

- Русь, одна больная Русь.

Ничего там больше нового...

Вот такой посыл грустной, я бы сказал, классически грустной иронии пронизывает всю поэзию Михаила Гутмана. Эта грусть у него распространяется не только на себя самого, она как-то уж естественно русским образом превращается в тоску по детству, по хорошим людям, по любви к женщине, по добрым и душевным встречам, одним словом ...по родине.

Припоминаю присказку:

- «...Почто грустишь? Не грущу, тоскую.... Почто так-то? Потому как русский...»

И я думаю, не от бродячей профессии моряка это в нём. Это от вятской отеческой земли, от духа её и власти её, что делают совсем неважным факт его явно не славянской фамилии. Неразрывная кровная связь с Родиной нигде в творчестве поэтом не подвергается сомнению: Когда однажды не вернусь,

ты не спеши вослед мне, Русь,
швырнуть в сердцах охапку мата,
поскольку не моя вина
в том, что, увы, с морского дна
нет и не может быть возврата...

И ещё, пожалуй, завидная искренность наравне с грустью выпукло стоит на первом плане за намеренно язвительной интеллигентной скупостью его слова, которое просто нельзя не заметить в сонмище сегодняшних изданий. Моё знакомство с этим словом, надо признаться, произошло заурядно случайно давно с какого-то газетного столбца или журнальной подборки его стихов в нашей местной прессе. Такое слово невольно западает в память, потом им при случае пользуешься, иногда бравируя, умничаешь, но всегда помнишь, откуда оно и чьё. Таким свойством обладают совсем немногие стихи, это понимаешь на любом уровне своего умственного становления. И уже после знакомства с самим поэтом окончательно утверждаешься в том, что его как человека можно было не заметить, не принять, в конце концов, не заинтересоваться его наискромнейшей персоной, но вот бесстрастно пройти мимо его творчества уже не получится. Сразу же привлекает внимание его умение пользоваться неожиданной рифмой, редким словом, удачным размером строфы, интересным переносом слова (разрывом), особенно приятно привлекает высокий уровень смысловой нагрузки его стиха. Понимаешь, что этому поэт кропотливо и настойчиво учился.

Часто бывает: живёт рядом с тобой человек, знакомый такой, понятный, вообще такой малоприметный, а потом вдруг выясняется, что он и умница редкий, и талант исключительный, и всё остальное в этом роде.... С Гутманом всё по-другому, он изначально – небожитель, он весь где-то вверху, во всяком случае, всегда дальше и возвышеннее. Как белый теплоход на дальнем рейде со всем своим особым предназначением, интеллигентной солидностью и такой особой серьёзностью. Вообще он со мною, надо признать, был серьёзен всегда с первого знакомства в литературном клубе Элегия в девяносто восьмом теперь уже прошлого века и до последних, омрачённых его болезнью встреч в его маленькой «гостинке» за столом у компьютера под сенью огромнейшей стены книг. Я не знаю, была ли причина серьёзности во мне самом или в этой завидной библиотеке, или в тщетно пытающемся взлететь с противоположной стены каменнокрылом «Икаре» Вс. Мечковского, или, наконец, в его смертельной болезни, о которой он стоически знал с самого начала.... Так или иначе серьёзность в наших приятельских отношениях была доминантой в пустой ли болтовне за рюмкой ещё до болезни, в возвышенных ли трезвых беседах о поэтическом слове, и даже в иронии со мной он был философски по-сократовски серьёзен. Наверное он просто знал цену наших встреч. Теперь эту цену знаю и я.... В жизни человеку уготовано много и трудно идти самому. В том великая суть достоинств личности. Но есть трудности, которые в одиночку не одолеть. Я говорю о духовном соприкосновении в творчестве, когда так важно хоть

однажды пусть самое незначительное, самое малое, как тень, как намёк, даже незаметно, вскользь понимание. В нужный момент такой намёк воспринимается как одобрение и поддержка, прибавляет сил и уверенности. Творческие люди знают, как дорого стоит всё это в изматывающей беспрестанности творческого поиска.

В соприкосновении с поэзией Гутмана, невольно в размышлениях о жизни, о насущном приподнимаешься к большему – к смыслу бытия, пониманию бренности мира и одновременной его вечности, ловишь и себя на ироничной философской грусти. Как-то при случае, чтобы затронуть его так называемую «алкогольную тему», читаю своё:

...На Руси как поэт - так верижник,
что власяницы тяжкую жуть
тащит сердцем за дальних и ближних
тем сильней, когда «примет на грудь...».

Думал, он обидится. Нет, выслушал и просто серьёзно говорит: - Это правда. Но ты не пиши так. Это не твоя правда. Ты пить не умеешь, а потому у тебя это зло получается. Не ирония, не грусть, а зло... Когда добросовестно и заинтересованно прочёл мою рукопись «У дерзновенного начала» и подборку прозаических зарисовок от первой до последней страницы, оставил на каждом листе мелко, но абсолютно понятно коротко и язвительно массу замечаний и сказал серьёзно, особо выделяя – книга стихов:

- Моё субъективное мнение – книга стихов... не получилась. Работай ещё... ,
- а потом чуть погода добавил: - Книга должна созреть и ...обязательно в муках. Так что, мучайся...

«...Пока неискренна душа,
Бог не услышит нашей боли.»

И было что-то ещё значительное и более важное в этот момент в нём кроме сказанных слов, может взгляд сквозь очки погрустнел, или тембр голоса чуть дрогнул, но стало приятно его понимание и участие: он одобрял мои опыты, хотя всем своим видом показывал, что ожидал большего и ему было жаль расставаться со своими иллюзиями. Он как наставник сокрушался над тем, что не совсем точно и прилежно я выполнил его задание. И становилась совершенно понятной необходимость дальнейших мучений, в которые и он подбрасывал свою столь необходимо болезненную долю. Совершенно нелепо представлять его поэтом абсолютно уверовавшим в своё особое предназначение. Сомнения и поиск своего слова преследовали его постоянно, хотя иногда в разговоре он подчёркивал, что никогда не возвращался к уже написанному, чтобы что-либо править или добавлять. Думаю, здесь он чуть-чуть лукавил. Его интеллект, или ещё вернее удивительным каким-то особым образом развившаяся интеллигентность никогда не допускала такой ограниченной и ущербной крайности в творчестве, как самовосхваление. Даже если бы это случилось, признаться в этом себе, а тем более ещё кому-то, ему напрочь помешала бы именно эта интеллигентность. О близких говорил скупой, но всегда тепло, в оценке

людей, окружавших его, был крут и даже жесток, хотя определённая зависимость от некоторых «друзей», преследующих свои интересы в знакомстве с ним, особенно в последний год, была ему нелёгким испытанием, с которым, по его же признанию, он не всегда достойно справлялся. В сегодняшнем жестоком мире чистогана и выгоды любая активность, даже сомнительного свойства, ошибочно принимается за правоту и потому часто не получает должной оценки и отпора. Впрочем, среди людей так было всегда...

К слову был строг и придирчив принципиально. Неукоснительно требовал соблюдения правил сопряжения в письме, критиковал напрочь метрические ляпы, считая красоту и стройность стиха одной из основ поэтической речи. Малейшая семантическая неточность аккуратно карандашом критично подмечалась им, но в чужой рукописи никогда ничего не правил и не добавлял от себя, относя сие недостойное занятие к плебейству. Признавался, что после долгих опытов и проб, в конце концов, принял всё-таки классические формы стиха, как важный и истинно достойный эталон. «...Время славно поработало здесь, и стоит ли мудрствовать после этого...?». Это был не конформизм, к этому привёл его талант и серьёзные познания в стихотворчестве.

Клубное литературное движение в городе одобрял, вспоминая при этом свою ленинградскую юность и участие в питерском поэтическом объединении. Сетуя на болезнь и бессилие, сожалел о невозможности работать с молодёжью. Ревностно следил за положением дел в организации союза российских писателей, как впрочем, и союза писателей России. Храню один из номеров «Литературных известий» за 1999 год, который Гутман тщательно с подчёркиванием при мне читал и болезненно, с непониманием происходящего, воспринимал делёж писателей и дразги по этому поводу. Думаю, сегодняшнюю затею в городе с организацией нового «клуба его поэзии» не поддержал бы в корне и однозначно определил бы расколом и ренегатством.

С неподдельной гордостью по мальчишески радостно перечитывал письма известного филолога из Хабаровска Валентины Катеринич, оценившей по большому счёту его поэзию, и повторял:

- Чертовски приятно, когда тебя понимают...

Нравилось ему и то, когда собеседник знал прилично пару строк из его творчества. К этой паре по просьбе дочитывал всё стихотворение, подчёркивая тем самым, что себя-то он знает всего. На самом деле так оно и было. Значительную часть своих произведений он помнил наизусть и мог прилично спеть под гитару. Мучительный поиск нужной строки, фразы, слова, подспудная работа сознания и вечное сомнение – вот условия, способствовавшие его завидной памяти.

Казню сегодня себя за то, что так редко заходил к нему в последние его дни. Было нестерпимо больно видеть безжалостность и какую-то бессмысленность природы в отношении к нему, и вдобавок чувствовать

абсолютную беспомощность, а так же нелепость и безысходность сближения. Его уже было не догнать, он уходил навсегда...

Нижеприведённые строки родились, несомненно, под впечатлением поэзии Михаила Гутмана и его беды одновременно в ту тягостную зиму 2001г. Я не читал ему этого, не успел...

...Есть что-то всё же выше нас
И кем-то выбор дерзкий сделан...
Предавши, взвизгнет снежный наст
Под грузом раненного тела,
Морозный воздух резанёт
Картечи след свинцово-синий,
Рванутся лошади вразлёт
С печальной вестью по России...
Но стихнут скоро бубенцы,
Уйдёт позёмка вслед копытам:
В снегах сыщи-ка все концы,
Где и начала позабыты...,
Где всех фантазий корабли Горят в плену у быта-кручи,
И словно вымысел Дали,
Стекает время в Мир тягуче...
И всё ж прости, не обессудь,
От всей, что есть душевной силы
Открыто вслух произнесу:
- Я сын твой, матушка-Россия,
От сердца связь к тебе лежит...
Прожить я без тебя смогу ли?
Так, где таятся, укажи,
Мне... предназначенные пули?

апрель 2004г.
г. Находка

Дела давно минувших дней

У каждого пишущего должен быть обязательно свой редактор. Беда если нет. Моим редактором мог бы быть Валентин Михайлович Фёдоров. Хабаровчанин, родившийся в Москве, большой добрый писатель, более тридцати лет проработавший в журнале «Дальний Восток», из них более двадцати главным редактором. После прочтения его книги «Сюжеты странствий» в 2004г.я написал ему. Три года изредка мы обменивались приветами. В одном из его писем ко мне есть строчка-сожаление – «где же вы были в девяностые...?», когда он ещё возглавлял журнал. В 2007г. от него перестали приходить письма, я понял, что его не стало..., и мои обещания

побывать у него в Хабаровске на улице Владивостокской остались несбывшимися.

Так уж сложилась судьба...
Николай Тertyшный.

"ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...?"

*Валентин Михайлович Фёдоров «Сюжеты странствий»,
повести, рассказы, очерки,
издание «Редакция журнала «Дальний Восток» г.Хабаровск 2000г

Прочёл книгу Валентина Фёдорова «Сюжеты странствий»*. Долго сидел в странном забытии, проворачивая мысли о прочитанном, сочувствуя и сопереживая всё ещё героям его, но потом вдруг почему-то прервал размышления и, несколько пожалев, что о сегодняшнем дне ни строки нет, о «перестройке» хотя бы слово-два, написал о своих чувствах... По нелепой и несносной привычке читать взялся с конца, с очерков. Резво, без должного внимания проскочил пару эпизодов (отметил на 543 стр. огрех - «...сорвало задний трюм...» - вероятно речь идёт о трюмной крышке), стало понятно – очерки написаны в разные годы, и по некоторым «ориентирам» всё говорит о шестидесятых годах прошлого века («...сразу после войны приехал и уже 16 лет на Улье» – «Счастливый Характер»). Это время расцвета освоения территорий на Севере, да и у нас в Приморье это было заметно. Советское государство вкладывало капиталы в развитие Дальнего Востока и одновременно питало надежды на прирост населения, а значит и на производительность труда. И дело шло к тому, но, увы, нынешнее положение дел в наших местах говорит о другом...

Я оставил очерки, безразлично перескочил на рассказы и вот тут-то тормознул. Чтение увлекло и взволновало. Герои в рассказах – люди, которых я люблю, о которых всегда болит душа. О знатных да великих много и часто ещё напишут, а вот о таких кто постарается...? Припоминаю из «Памяти» Владимира Чивилихина – «...Часто необыкновенно скромные и действительно не сделавшие ничего такого выдающегося люди, однако, очень заметно влияют на окружающих своим нравственным обликом, делают других лучше и чище, а свет их души, как свет погасшей звезды, долго ещё тихо греет, струит тёплым лучом сквозь мир, согревая людей благодарной памятью...». Ещё нужно подумать, от кого пользы более – от тех, кто скоро, пусть даже и славно умирает или от тех, кто долго и просто живёт...? Вдобавок нужно принимать во внимание тот факт, что в иные времена да в иных местах перед человеком стоит задача – просто выжить.... Где бы было сегодня человечество, если бы все вдруг кинулись подражать, особенно в смерти, первым...?

Прочитал рассказ «Адюльтер», по понятным причинам название заинтриговало, поскольку тема сия во все времена была притягательна со всех сторон. Очень понравилось, как продвигается по нарастающей чувство героя от супружеской любви до страсти к другой женщине - «...о жене Доров вспоминал в командировках часто со счастливой благодарностью», «...мысленно благодарил жену, и ему ещё больше захотелось домой», но, сравнивая далее её с другой женщиной, припоминал уже как «...бывала жена услужливой до приторности и на людях, и дома, что он иногда ненавидел её». А вот как растёт страсть при виде другой женщины - «...сладко щипало сердце», «...находил новый восторг на Дорова», «...умиление охватывало его», «...заволновался ещё пуще», «...наблюдал за каждым её движением», «...не очень умно сказал... и смутился», «...болезненно переживал», «...совсем осмелел», «...испуганно толкнулось сердце», «...голова тотчас приятно затуманилась, потеряла ясность», и когда «...саксофон голосом гулливой изюбрихи позвал всех на танго» «...он презирал и ненавидел её всё время пока она танцевала с гостем». Сравнение с изюбрихой было чудным и вызвало у меня улыбку. Вообще признаюсь, умничанье, некоторая поза, редкое, может быть, старое словцо всегда мне нравятся. «Чужой дом, если он не отвращает холодом аскетической пустоты, всегда напоминал ему антикварную лавку или столичный комиссионный магазин...» - хорошо, чуть с иронией, с этакой многозначительностью в довольно коротком предложении.

И вот уже сопереживаю героям из рассказа «Сватовство» - «...И робость взяла его, как вяжет рот неспелая черёмуха...», «...Жёлтый огонёк свечи обрадовал Пал Палыча, как в детстве радовала новогодняя ёлка...», «...Темнота ночи, как живая, бурлила перед его глазами...». В первом примере сначала показалось, в семантическом плане не всё верно, но поскольку сравнение понравилось звуками – роб, вз, вяж, рот, посп, чер, поразмыслив, я согласился с автором окончательно и бесповоротно. Рассказ каким-то образом провернул в памяти мотивы из Шукшина (Царство ему Небесное...), и невольно сравнивая какие-то похожие ситуации, я припомнил у Василия Макарыча некоторую незаконченность, оптимистическую, обнадёживающую, но всё-таки незаконченность. У Фёдорова же рассказ заканчивается чуть с грустью, чуть с сожалением, но без пессимизма, одним словом как в жизни. Где-то в безмолвных упрёках и пререканиях героев спрятано добро, обыкновенное человеческое тепло, понимание друг друга. Это не безнадёга, не край, это просто жизнь – какая бы она не случилась, она всё равно продолжается...

Удивительное умение в простейшей, казалось бы, заурядной ситуации находить героев, и даже вовсе не простых героев, а удивительно чистых людей, вокруг которых все сколь просто, настолько же и красивы, как в рассказе «Эксперимент». «...То ли от любви к справедливости было это у Гришуни Лапузина, то ли он дурью маялся...», «...Он любил в таких ситуациях пострадать один...» - и вот уж затронут нерв в читательской душе, и звенит он и откликается на добро, щемит сердце болью за героев, и

наворачивается в глазах слеза сопереживания и благодарности писателю за то, что углядел, не забыл таких малых и чистых людей, за то, что есть они ещё ныне наперекор вывернувшемуся вселенскому прагматизму и вычурной людской спеси...

А в другом рассказе («Воздух природы нерукотворной») проникаешься лёгкой иронией, какой-то грустью за человеческое несовершенство, пасуешь перед пошлостью и понимаешь, как всё-таки слаб человек... «Жена Эдика, высокая худая женщина, болезненно бледнолицая, мучалась печенью и лечилась покоем...». И ещё в рассказе трогает природа, описанная кратко, точно, словно сочными яркими мазками: «...Пахло ночной осокой и речной тиной...», «...Ночь была лирической – стыдливо тихой, с ясной светлой луной, с тёплой росой под ногами...».

Особый разговор о повестях.

«Северная быль» захватывает сюжетом, но меня, как читателя предвзятого и привередливого всегда привлекают, может быть, маленькие, казалось бы, незначительные штрихи, какие-то намёки, философические отступления. «...Если бы человек оставался только взрослым в душе, без памяти поступков и чувств ушедшего детства, то разве было бы в нём столько места благородству, нежности, состраданию...» - как здорово подмечено. Я не знаю ни одного человека, который бы напрочь перезабыл уроки добра и сострадания из своего детства, если же у человека действительно было оно. Фёдоров показывает детство в суровейших условиях, среди не только добрых людей, но чистое участие в нём поистине настоящих и добрых людей, делает этот мир по истине тёплым и благодатным. Мальчишка и бездомные собаки, связанные дружбой, великое тепло доброты неграмотного старика эвена, записочка девчонке, ставшая причиной и чуть не превратившейся в трагедию мальчишеской обиды, и снова добрые безобидные собаки... - эти картинки словно выхвачены ярко и живописно из... моего собственного детства, может быть лишь с небольшой разницей в героях и месте действия. «Смеркалось уже, и по насту юлила позёмка, тревожно колобродилось, бурело небо, воздух казался несвежим, словно летом на пристани чистили вчерашнюю рыбу...» - одного предложения оказалось достаточно, чтобы вызвать и из моей читательской памяти целую картину и зябкого зимнего вечера, с каким-то намёком на тревогу и опасность, почувствовать по памяти действительно не совсем приятные запахи из давней ночной пурги, из моих детских лет, когда однажды довелось остаться одному за околицей и заблудиться... Повесть «Сердечная недостаточность» с первых же эпизодов показалась мне в большей степени автобиографичной. Хотя, как человек тоже иногда что-то сочиняющий, знаю - в любом повествовании всегда есть много из жизни самого автора, отпечаток его переживаний, его мировидения. Потому-то вероятно иногда о себе получается сказать пусть и неосознанно много и, что замечательно, и особенно правдиво. «Слишком прямолинейно, бывало, он хотел в первую очередь... от этой торопливой жизни благ, славы, а не истин...», «...И жизнь, о которой он так радостно и восторженно писал в

своих очерках, защищал от пошлости в фельетонах, показалась ненужной и бессмысленной...», «...Костычев любил стариков, разделял их философское безразличие к приобретательству, готовность к аскетизму в быту, но с непрременной духовной жизнью...» - такое пишется о себе самом. А вот реплика жены Костычева: «Разве можно с тобой жить, если не любить тебя...». Много можно отдать за такое признание.... И ещё очень замечательно подмеченное суеверие - «...показывать народившейся луне медяки и ждать после крупных денег...» - так близко мне самому. Этому в шутку и, конечно же, всерьёз учила когда-то и меня моя мама. Чудо и в этом суеверии и в том, как Фёдоров его вспоминает. Надо признать, повесть берёт за душу серьёзностью и важностью этических проблем. И, казалось бы, завершается далеко не оптимистически, а наоборот больше трагично, но опять-таки как в жизни. Это удивительное умение писать жизнь без великого оптимизма, но и не наделять её излишним пессимизмом. Жизнь она всё-таки многовеснее и значимее этих определений, она бесконечно продолжительна и многовариантна, чтобы укладываться в такие не слишком широкие понятия оптимизм или пессимизм. Поистине удачлив тот, кто по хорошему «болеет жизнью» и умеет это передавать в своих произведениях. И хотя сегодняшние «больничные проблемы» несколько изменились в сравнении с советским временем, случай из повести несколько не потерял что-либо от этого. Людские отношения по-прежнему те же, и угрызения совести те же.... И отношения к смерти, и отношения к хапугам, ко лжи, и к справедливости не утратили своей остроты и актуальности и сегодня. Эти отношения никогда не станут безразличными читателю.

Взволнован был повествованием «Петечка». Вечная и приятная тема – старики, и больная и важная. У Фёдорова написано хорошо и с добром, с подчёркнутой теплотой. «...Покуда векует на свете душа, потуда и хозяйкой в доме быть охота...», «...Зарозовела, взбухли малиновым соком губы, шально заблестели глаза...», «...Время почти не тронуло их избу, только угольно почернели венцы листовенных плах (правильнее вероятно будет – листовенничных)...», «...В глубине двора топилась бревенчатая банька, разнося дух распаренного дерева, над ней в близкое небо конским хвостом пушился тёмный дымок...», «...Грядки походили на запущенные могилы...», «...И хмель бывал в тех грушах, и какая-то неизъяснимая холодящая сладость...» - присутствует в таком лирико-эпическом подходе в повествовании и грусть, и затаённая тревога, и чувство собственного стыда, какого-то бессилия перед неминуемой неотвратимой действительностью. «...Трепыхнулась она бессильно, как воробышек в руке...» – как сказано о старой матери...! А вот ещё коротенькое и простое, но, сколько глубины и сакраментальности – «...Пуповина у тебя была слишком длинной при рождении, а для любви к родителям надо, чтоб короткая была...». Сколько жизни и сколько мудрого понимания её. И заканчивается затаённая деревенская трагедия совсем не по-книжному, а точно как в жизни – сыновья чёрствость обязательно укорачивает старикам жизнь.... Защемило, разболелось сердце. Припоминал о своих давно уже не деревенских и давно

умерших родителей, и стонала душа за свои какие-то смутные, забытые и давно уж прощенные грехи. И больно было, и тепло одновременно оттого, что кто-то ещё мудрый и добрый помнит о том же и пишет. Более всего странным образом взволновала меня повесть «Инок белой пустыни». Я понимаю, почему некоторые моменты повествования кажутся до боли похожими на свои собственные случаи из жизни – просто писателю удаётся затронуть читательскую душу, именно в эти моменты он наиболее удачно подмечает жизнь, потому ему веришь и, кажется, что нечто подобное ты чувствовал и переживал в своей собственной жизни. Когда прочитал, как герой повести ступает в торбосах первый раз на снег («...такое испытываешь ощущение, словно на ногах у меня, кроме носков, ничего больше нет...»), невольно долго беспричинно смеялся. Ведь действительно в торбосах легко и приятно ходить, словно босиком. Во первых, от повести дохнуло чем-то знакомым, снежным и чистым, мужественным, с грустью, испытанием и одиночеством. Для себя отметил, что нечто подобное испытываешь от «Обыкновенной Арктики» Бориса Горбатова. «...Чтобы успокоиться и перестать ждать своей очереди в ад, я позволяю себе такую вот езду...». Прелестно! Или вот ещё – «...Боюсь задремать в этой жизни, сгорбиться под своими думами, карабкаюсь к истине...». Часто, приятно часто в повествовании упоминаются цвета – «...сиреневое утро, фиолетовый горизонт, грязно-малиновый снег, озеро в розовой дымке...», а вот целое предложение: «...Розово-фиолетовым стал горизонт, бархатно затемнели окрест снега...». Удивительно смелый подбор сравнений: « Утренний холод в самом деле походил на гильотину...», «...развернул свежую газету, загрохотав ею, как листом железа...», «...поджаривали друг друга на огненной сковородке сарказма...». Всегда чудесные картинки при описании собак: «...три совсем маленьких щенка продолжали крутиться у его ног. Один старательно мочился на торбоса...». И ещё как-то вдруг понял, что эта повесть Валентина Фёдорова в сущности монолог, лишь построенный в форме диалога. Это разговор с самим собой, честный, возвышенный и откровенный. Нравственно-этические размышления героя на тему потребительства, о любви, о величии и одновременном ничтожестве человека, о взаимоотношениях людей вообще – показались мне близкими и понятными. Впрочем, это в принципе «вечные вопросы», а потому и ответы на них у людей почти одинаковы. Но было ещё что-то более близкое. Последней каплей в эту близость стал Владимир Высоцкий, присутствующий своей песней при разговоре героев... Своё эссе «Я Вам писал» я тоже пытался выстроить в форме диалога с умудренным собеседником. Это так оказалось похожим на «пререкания» фёдоровского героя с другим его героем Сартовым. Должно быть, как участник повести Сартов (почти Сократ), так и мой мудрец (почти Толстой) родился первым в замысле. Он умудрённый и значительный, словно века проживший на земле, первым родился в писательском сознании. Он словно поселился в нём с рождения автора, всё время рос и рос в воображении до определённого состояния, чтобы быть наконец-то изображённым в повести,

хотя был огромен и велик уже с самого начала и без того. «...Наверное, для того, чтобы понимать других, надо просто выбросить из себя тщеславие и не бояться подчиняться, не желать властвовать...» - вот это было последней точкой моего понимания «Инока», этого стража православья в «белой пустыне» людских отношений. И ещё «Кони привередливые» Высоцкого так же звучавшие для моего «мудреца», случайно ли «неслись» и для фёдоровского Сартова...? Что-то есть в этом мистическое и необъяснимое. Это время так одинаково врывается к нам в мозг, события похоже будоражат и отражаются в сознании, а потом вырываются в повестях почти похожими образами. Кто правит нашим сознанием? Надо признаться, мой атеистический склад мышления никогда не позволял таким образом ставить вопрос. Это со мной впервые.... Повесть как в жизни заканчивается несколько ускоренно в детективном стиле, но чувство надежды на лучшее не покидает читателя, и какое-то тепло соучастия в судьбе чужих, но, каким-то образом, знакомых героев греет и обнадёживает душу. Я понимаю, это от любви к людям у писателя складываются так слова и передаются точно и преднамеренно остро читателю. Желание намеренно «царапать» больно до крови читательское сердце – это в писателе святое.... И дай-то Бог тому сил и умения...

Приморье 2004г.